

ЛитРес:

ДЕЛЕНИЕ НА НОЧЬ

Григорий Аросев
Евгений Кремчуков



Евгений Кремчуков

Деление на ночь

«Евгений Кремчуков»

«Григорий Аросев »

2020

Кремчуков Е. Н.

Деление на ночь / Е. Н. Кремчуков — «Евгений Кремчуков»,
«Григорий Аросев », 2020

Однажды Борис Павлович Белкин, 42-летний преподаватель философского факультета, возвращается в Санкт-Петербург из очередной выматывающей поездки за границу. И сразу после приземления самолета получает странный телефонный звонок. Звонок этот не только окунет Белкина в чужое прошлое, но сделает его на время детективом, от которого вечно ускользает разгадка.

Тонкая, философская и метафоричная проза о времени, памяти, любви и о том, как все это замысловато переплетается, не оставляя никаких следов, кроме дневниковых записей, которые никто не может прочесть.

© Кремчуков Е. Н., 2020
© Евгений Кремчуков, 2020
© Григорий Аросев , 2020

Содержание

Часть первая. Дневник путешествия в август	5
Первое	5
Вначале	8
Второе	10
Имена	13
Третье	16
И воззвал	19
Четвёртое	21
В пустыне	24
Пятое	27
Приглашение	30
Слова	33
Часть вторая. Поручение	35
Проповедник	35
Шестое	38
Конец ознакомительного фрагмента.	40

Григорий Аросев, Евгений Кремчуков

Деление на ночь

Меня искали, но не нашли.
Александр Пушкин

Часть первая. Дневник путешествия в август

Первое

Пятый персонаж – вот кто всегда занимал тебя на гравюре Дюрера. Не Всадник, держащий свой прямой и бестрепетный путь долиной смертной тени. Не сам коронованный червями и змеями Господин Смерть, повелитель земель сих, хвастливо демонстрирующий герою инструмент своего могущества. Не пучеглазый Искуситель. Не подневольный конь, направляемый непреклонной рукой. Взгляд твой всякий раз притягивал к себе бегущий за хозяином пёс – символизирующий правду и верность, как поясняет любой комментарий к первой и, возможно, самой известной из трёх мастерских гравюр великого немца. Когда вы ездили с Верой в Царское и полдня гуляли по парку (какое было солнце, солнце вашего Петербурга одиннадцатого года!..), ты нарочно отвёл её к дюреровскому Всаднику и долго, помнишь, ей об этом рассказывал. Тебе любопытно смотреть на эти волшебные картинки отсюда, из будущего, где ты уже знаешь, чем всё закончилось (и, прежде всего, знаешь, что всё закончилось), слушать того – другого – себя в собственном воспоминании и воображении. Вот вы стоите вдвоём, обнявшись, перед скульптурой в переполненном светом летнем парке – он совершенно безлюден и бездвижен, отчего кажется, будто вы стоите с ней внутри фотографии, и ты рассказываешь, рассказываешь. Сейчас ты скептически решил бы, что, пожалуй, перегнул по обыкновению палку со своим интеллектуальным занудством. Туманцева, например, не преминула бы прервать твою увлекательную болтовню какой-нибудь легкомысленной своей ерундой, но Вера слушает очень внимательно, а потом спрашивает:

– Хочешь, назовём её?

– Кого? – ты даже не понимаешь сначала, о чём она говорит.

– Собаку, – улыбается. – У неё же нет имени, Лёш, так пусть будет. По нашему с тобой уговору, паролем нашим, маленькой тайной.

Обернувшись отсюда, из первого августа шести с лишним лет спустя, разглядывая все сохранённые в альбоме памяти картинки (странные это снимки – пустоши прошлого), раскапывая там себя, понимаешь, что почти всегда старался избегать любого выбора. Принимал то, что приносила из грядущего река времени, и то, что протягивала в настоящем рука дающего. Это проще простого, как у пса, следующего за своим хозяином через долину смертной тени. В щенячьем возрасте выбран ты, и выбора у тебя никакого дальше нет. Не потому что несвободен, о, не потому. Ни сбруя, ни другая какая упряжь, как у брата-коня, не сдерживает твоих движений. Но внутри тебя самого не существует иного образа действия, кроме того, чтобы следовать за тем, кем ты выбран. Только вот за кем же – безымянный или поименованный – следуешь ты, неведомый ведомый?

Вот, кстати, вспомнилось. «А что, разве у меня есть выбор?» – любимый вопрос Туманцевой. Хотя для неё это вообще не звучало как вопрос. Тот (хотя бы) предполагает ответ, а упрёк не предполагает ничего, кроме обиды. Ей, кажется, самой неосознанно нравилась эта её пози-

ция кредитора по отношению ко всей остальной Вселенной. А по отношению ко мне – не считая первого, может, полугодом нашей супружеской жизни – Лена выступала с позиции, как это говорят, обманутого вкладчика. Что бы я ни предлагал, о чём бы ни просил её, завершая свою речь дипломатичным «согласна?», «что, разве у меня есть выбор?» – слышал я в ответ. Парадоксальным образом решать самой ей ничего не хотелось, однако любое моё решение вызывало в ней какое-то принципиальное отторжение, которое она маскировала своим смиренным что-разве-у-меня-есть-выбором. Этот парадокс, механизм её упрёка, лежал на поверхности, был совершенно очевиден, но она не могла в нём сознаться – ни мне, ни себе самой. Сначала я реагировал на такое раздражённо. Слово за слово – она включала режим скандала, тонкими иголками кололи сердце претензии и упрёки. Еленины и, да, мои. Мы мирились, конечно, более или менее легко, но все эти взаимные неудовлетворённости слово к слову, лист к листу сознание подшивало в свою воображаемую ведомость усталости. Потом – с мудростью, как мне казалось, зрелых лет (сколько нам было, четверть века, плюс-минус) – пытался найти какие-то компромиссы. Ну, скажем, любого рода бытовые выборы: что приготовить на ужин, какой посмотреть фильм, в какой на этой неделе пойти театр, какой именно сорт пельменей купить в магазине – всё это, хорошо, предоставлялось решать ей; вопросы же более серьёзные, раз уж они, куда денешься, раньше или позже возникали, оставались за мной. Так я предлагал. Или предлагал наоборот: серьёзные вопросы будут за ней, простые на мне – для меня не было в том абсолютно никакой разницы. Но ничего не помогало – ни разговоры, ни разъяснения, никакие попытки что-то изменить в способе отношения ко мне, в наших отношениях. Сменившая раздражение мудрость сменилась в свою очередь безразличием. Был пыл, да весь остыл.

– Хочешь, её назовём? – так спросила Вера.

– Я не знаю, – ответил я.

Ночью. Весь мой дневник – а ему девятнадцать лет завтра – это восхождение к одиночеству. И вместе с тем – восхождение ко множеству. От того меня, который делал первые записи в текстовом процессоре на подаренном отцом PowerBook G3, что осталось во мне сегодняшнем? То есть нет, не так. Что от меня сегодняшнего было тогда в том мальчике, ну, кроме имени? Из него я взялся или откуда? Не два ли разных человека живут под одним именем и по одному паспорту – один здесь, другой там, где до миллениума целых два года ещё впереди, и голова полна школьными какими-то заботами, размышлениями о природе мужчины и женщины, о грядущем столетии, и о мире новом, и о распределении счастливых билетиков... Даже почерк у этих двоих был бы, кажется, разным, если бы я писал от руки. (Было, испробовал я и такое дело, из соображений экспериментальных писал на первом курсе, но вскоре бросил, и одной тетради не заполнив теми заметками.)

Поначалу я обнаруживал в том способ закрепить всё, что удастся. Что-то вроде ежедневных отчётов: расписание сегодняшних уроков; прочитанные книги; кто, куда и с кем ходили, как сыграли в баскетбол. Покойный Бродский рассчитывал, что Бог сохраняет всё, но у четырнадцатилетнего мальчика нет ни веры Бродскому, ни надежды на Бога – приходится делать дело самому. Он старается приберечь любую мелочь, каждую монетку, чтобы в своём вознесённом над временем «потом», разложив перед внимательным внутренним зрением накопленные сокровища, колдовством воображения оживить каждого из множества тех себя и каждый тот день, в котором он бросил монетку наудачу и чтобы вернуться.

Память, перечитывая иногда свои записки, собирает меня, собирает всех меня, и с каждым годом нас приходит больше и больше на эти встречи. До какого предела может/будет множиться это число? Сейчас, мне кажется, нас становится так много, что некоторые из нас уже не узнают друг друга и, даже припоминая общее нам всем имя, смотрят с сомнением: «Откуда

же я его знаю?..» Впрочем, возможно, это просто огненная вода Мартеля говорит в эту минуту моим голосом, водит моей рукой, касается подушечками пальцев клавиатуры, смайл.

Счастливые люди, полагаю, не ведут дневников. Протянутое изо дня в день описание этих самых дней всегда предполагает взгляд будущего себя-читателя; мы всякий раз вдвоём у монитора. А счастье живёт полнотой настоящего, ему дела нет до послезавтрашнего дня, тем более до послезавтрашнего года. У счастливых людей для разговора есть близкие сейчас, им нет никакой необходимости вести беседы с самим собой – через время или как угодно. В дни, когда я был счастлив, я ничего не писал в дневник (да и откуда бы я взял на это время, скажи). И от времени Веры не осталось ни одного слова, всё оно – как пробел между двумя другими словами, как лакуна – словно бы невидимо заключено в вечных своих границах между записью в день перед её приездом и записью следующего дня после того, как она уехала.

Спать, надо спать. Но иногда меня беспокоит сомнение: день, от которого не осталось записи, – был ли в нём я? Вот чего я по-настоящему боюсь, Алёша.

Вначале

Всё, всё вокруг безвидно и тщетно, и мрак над пропастью.

Только есть ли здесь кто-то? Хотя бы дух?

Тот, кто мог бы отражаться в воде?

Нет.

Темно.

Темно и гулко.

И чуть тревожно.

Из белого шума небытия проступают контуры действительности. Где я?

Идёшь в толпе, теряешься в ней, скользишь между частичками мозглового тумана, и тем не менее кажется, что всякий норовит заглянуть в лицо, спросить, наклонив голову влево: «Что? Как?»

А может, и наоборот: сам заглядываешь каждому проходящему в лицо, самоутешаясь, что кого-кого, а тебя-то никто не приметит, ибо кому и на кой ты сдался, только вот всё равно этот самый каждый проходящий перехватывает твой взгляд и как будто осуждающе припечатывает к стене.

А закроешь глаза – темно. Темно и гулко. И чуть тревожно.

Прислонился к надписи «Не прислоняться» и задремал на полминуты. С рёвом поезд вырвался на свободу – на следующую станцию. Кто-то коснулся плеча: выходите, мол? Сквозь сон страшно напугался. Повернулся, стал тыкать пальцем в дверь на уровне солнечного сплетения – мгновенно приобретённая привычка, во сне казалось, что ещё *там* и вокруг не родное метро, а тамошний трамвай, а значит, и на кнопку надо нажимать перед выходом. Но кнопка не нащупалась, а двери открылись сами. Машинально подался вперёд и стал озираться – что же за станция-то? Может, уже и выходить пора? Но нет. Вроде бы, нет. Вернулся в вагон.

А ну как это и вправду долг? Идиотская фраза. Порожняя пустота в вакууме – так Елена говорит, а если Елена говорит, то, значит, надо слушать. Либо должен, либо нет. Не взаправду нельзя быть должным. Да и вообще, к чему строить из себя героя, жертвенника? Либо да, либо нет. Сказал нет – гуляй смело, сказал что-то другое – не жужжи и разбирайся. Лёва не зря повторял, мол, в поговорке «взялся за гуж – не говори, что не дюж» скрыт огромный смысл, это, по сути, единственный пункт всеобщего кодекса чести.

Но в том-то и дело, что он ни за что не взялся. Помялся чуток, побормотал, да и свёл тему бог знает к чему, хотя первым делом хотелось заявить чуть ли не матом: батенька, да вы что, совсем, что ли, ополоумели? Но почему-то не заявил. Невнятные кивки и междометья – вот и весь итог беседы. Внешний итог. Сомнение-то этот не особо приятный старикашка посеял успешно, как выясняется. Судить надо по результату, постоянно напоминал Громов в те годы, когда они регулярно общались по разным делам. Результат всего – он, сразу после утомительного перелёта с пересадкой и сменой аэропорта в Москве, задуренный рабочими делами, терзаемый рядом предсказуемых желаний, напрямик из Пулково поехал к нему («До меня из Пулково очень близко. Я на Электросиле живу. Берите машину»), а теперь направляется, конечно, домой для удовлетворения всех этих нужд и потребностей, но думает-то о чём? О старикашке и о его предложении.

Там ощущение от толпы в общественном транспорте совсем другое. Во-первых, даже с базовым немецким почти ни черта не понимаешь, о чём они говорят. Хотя, судя по лицам и интонациям, о чём-то необременительном. А во-вторых, люди там ездят на короткие расстояния. Попутчики меняются быстро, не успеваешь к ним привыкнуть, не успеваешь почувствовать с ними противоестественное единение, не вырабатывается пресловутое чувство локтя, будь оно неладно. Не то что в Петербурге (и в Москве, конечно): если нет безумной давки и

есть желание, можно придумать каждому биографию, с кем-то подружиться, кому-то врезать, а с кем-то и переспать. Давным-давно, ещё в студенчестве, он придумал смешную игру: представлял, может ли сосед по вагону метро быть его профессором. И с самых что ни на есть младых ногтей понимал, что смотреть надо на лицо и на глаза, а не на одежду. (Ныне покойный Вениамин Петрович одевался чуть ли не как бомж, и шапку зимой почему-то носил детскую, с помпончиком, но какой был взгляд!) Однако сейчас дико хотелось влиться в ту толпу, чтобы никто не смотрел и не анализировал его. Потому что нынче, кажется, его анализируют все – как нарочно.

Вдобавок кажется, что все – это никто; все – это один; все – это я. Пересаживаешься с линии на линию, заходишь в вагон, а там сидят те же люди, тот же я. Подходишь к эскалатору, а внизу в будке сидит я, который командует: «Стойте справа, проходите слева». А потом приходишь на работу, и какая-нибудь студенточка Юлечка просит сфотографироваться – у неё день рождения, ей хочется. Ну, что ж нет – фотографируемся. Она включает просмотр – понравилось. Смотришь сам. Юлечка в порядке, а рядом с ней кто? Какой-то очевидный не я. И общее у нас – только имя.

Ох, опять задремал. Скорее бы доехать.

У чемодана сломалось колёсико, приходится чуть ли не на горбу тащить. Неудобно. А плитку у метро наверняка пока не положили. Интересно, Фарида приедет? В тот раз она его ужасно раздражила, и она сама это заметила. Эх, Фарида-Фарида. Елена... Господи, текст, текст, как же я забыл, что обещал ещё в Кёльне написать и отправить Зайцеву – хотя почему он не напомнил? В холодильнике, кажется, что-то есть, пельмени точно – первая хорошая новость за сегодня. Летать люблю, но чуток надоело, четыре перелёта за три дня, а ведь недавно был Челябинск, и потом что-то угрожает.

О, чудо: пора выходить. Эскалатор. Люди. Смотрят.

Слава Яхве – от метро до дома пять минут энергичным шагом. Надо поднатужиться и прибавить шаг. Ходу, Казимирович.

Вот приду домой, ка-ак лягу и просто отключусь. Разденусь, даже мыться сразу не буду, бухнусь в постель и всё. Главное – отключить мобильник. Не забыть!

Много лет назад удалось обнаружить странную закономерность: если не удаётся заснуть в первую минуту, надо лечь на удобный бок и начать думать о женщинах. Сон приходит мгновенно – метод срабатывает абсолютно всегда. Так что бессонницей мучиться не будет.

Ну, слава Богу, добрался. Одежду долой. Лёг. Устроился. Вспомнил Фариду.

И вдруг кое-что удумал – странное, удивительное, беспрецедентное. И вскочил как ужаленный, одним движением руки сбросив уже готовый навалиться тёмный всепоглощающий шум, как будто вынырнул на поверхность, отцепившись от смертельной коряги. И подбежал к чемодану, как дети не бегут к тятё, сообщая очевидную новость. И достал из него ноутбук, и поставил его на кровать, и открыл его, а сам сел на пол, неослуживо ощущая голыми ягодицами прохладу унылого линолеума. И начал, как оглашенный, бить по клавишам, впервые в жизни не обращая внимания на красную истерику Ворда, подчёркивающего буквально каждое слово. И продолжалось это невесть сколько, хотя и получило свой конец, когда сбилось и второе дыхание, и третье, и все остальные. И тогда просто поставил ноутбук на пол. И заснул он сорока двух лет и ровно пяти месяцев. И успокоили его мысли и как будто сами положили его под одеяло.

Второе

Вчера лёг за полночь. (И не знаю, как написать: вчера? Или сегодня? Сегодня так себе вьжется с прошедшим временем грамматики, вчера – с календарём и свидетельскими показаниями всех часов в доме, лёг-то я после полуночи. Всё-таки, наверное, остановлюсь на сегодня. И зря, кстати. Не в смысле зря, что выбрал написать сегодня, а что сегодня спать лёг. Чтобы хорошо проснуться, никогда не ложись ко сну сегодня, всегда ложись спать вчера. Если бы в детстве у меня была старушка-няня, она именно так меня бы учила, и весь мой жизненный опыт подтверждал бы её народную мудрость и глубинную простую правоту.)

Лёг за полночь, и снилось, что искал в Библиотеке книгу на этот день. Пришёл утром совсем рано, едва ли не минута в минуту к открытию, и в читальном зале не было ещё вообще никого, так что в тишине слышно, как гудят лампы дневного света, и одна – над столиком у дальней стены во втором ряду – потрескивает и мигает и никак не может разгореться.

И вот я стою внутри этого спокойного света, и низкого чуть слышного гудения, и далёкого потрескивания одной непокорной разряду люминесцентной лампы, стою у стойки выдачи, и никого за ней нет. Я раз и через минуту другой нажимаю на кнопку вызова, от которой идёт сигнал в комнату библиотекарей за дверью, не знаю, что уж у них там, лампочка загорается или звенит звонок, но никто ко мне не выходит и за дверью не слышно ни звука. Тогда я обхожу стойку, приоткрываю дверь к ним и вопросительно говорю: «Доброе утро?» Молчание, нет, оказывается, тишина, ведь молчит кто-то, а в небольшой комнате никого нет. Пахнет растворимым кофе, я вижу, что на столе стоит кружка, над которой поднимается пар, сейчас август, и, значит, кипяток налили совсем недавно, едва ли не только что, но? Я выхожу обратно в зал. Соседняя дверь в хранение, она тоже не заперта. Захожу и несколько громче спрашиваю: «Доброе утро?»

Я иду между очень высокими стеллажами и не знаю, как бы мне самому найти мою книгу на этот день. Не у кого спросить совета, я здесь совершенно один, не считая сотен тысяч книг и расставленных тут и там ламп и стремянок. Вероятно, мне надо вернуться к началу и попытаться найти, что мне нужно, по карточкам в каталоге. Но возвращаться кажется почему-то капитуляцией. Да и если число карточек равно числу книг – поиск среди них не будет проще, чем здесь. В одном из проходов между стеллажами, я вижу, стоит Вера и листает какую-то книгу. Время – конец девяностых, не позже, и Вере здесь должно быть не больше семи-восьми лет, младшие классы, с бантами и косичками, но она почему-то та самая, девятнадцатилетняя, из Петербурга нашего счастья. Я прокладываю свой путь между стеллажами, поворачивая, когда дохожу до дальнего конца, как в «Змейке» на своей Nokia 3210, только не удлиняюсь, а наоборот становясь всё меньше и меньше с каждым поворотом. И стеллажи вокруг меня всё выше, к верхним полкам проложены лифты, и мне кажется, что я блуждаю по огромному мегаполису книжных небоскрёбов, но, сколько бы ни было в нём книг, моей среди них не будет.

К шагу шаг, я начинаю понимать, какая именно книга мне нужна, не просто книга на этот день, та книга, которую я ищу здесь, – она и есть мой этот день. Я хочу успеть прочитать её, потому что в ней, как в бэкапе, завтра было записано и сохранено наступающее сегодня.

Да, добро пожаловать во второе августа, друзья мои!

Другие дни, другие сны.

Сейчас, в своём августе, я просыпаюсь и не знаю, нашёл ли я себе книгу, которую искал всю ночь (или последние несколько минут перед пробуждением?)... Есть у меня теперь день до самой своей полуночи или нет? «Человек есть мера всем вещам: существованию существующих и несуществованию несуществующих. А раз так, моё сознание определяет твоё бытие», – кто мне так сказал: фракиец Протагор из Абдер или смолянка Вера?.. Хороший повар готовит

вопросы, а не ответы – вот это совершенно точно сказал Белкин, при работе над введением мы с ним как раз долго обсуждали лекции Мамардашвили о древней греческой философии, и взгляды наши с Борис Палычем на Протагора и софистику оказались чуть ли не впервые диаметрально противоположными. Что ж, во всяком случае, судя по количеству вопросительных знаков, мне с закрытыми глазами и связанными за спиной руками можно устраиваться шефом в любое заведение, освящённое заветным сиянием мишленовских звёзд, смайл.

Человек есть мера всем вещам. По скудоумию, что ли, своему я совершенно не вижу здесь ответа. Из раза в раз возвращаюсь к этим словам и пытаюсь дотянуться туда, через два с половиной тысячелетия, пытаюсь понять мысль своего бородатого, голубоглазого и русоволового фракийского наставника. Только ли человек наделяет вещи существованием? Без него всё вокруг просто тёмный сгусток материи? Обычно слова Протагора принято сводить к сенсуализму, субъективному идеализму какому-нибудь, забывая совершенно, что он мыслит и говорит не себя-человека, и не этого человека (тебя, меня, Б. П. Белкина, Лену Туманцеву, Близнецова, Веру Хацкевич – никого одного из нас), а человека вообще. Что именно существование в мире человеческого сознания пробуждает бытие и определяет ему форму, сказал бы грек, как утреннее солнце пробуждает к жизни тёмные глубины ночного леса.

Всем вещам есть мера – человек. Но где границы самого человека, что «пробуждает его бытие и определяет ему форму»? С одной стороны, понятно, человек физически ограничен в пространстве пределами своего тела, заключён в нём навсегда от своего начала и до конца своих дней. Со стороны другой, сознание, заключённое в этом теле, – победа человека над собственными пространственными границами. Я закрываю глаза (перестаю набирать слова, останавливаюсь и закрываю глаза – чтобы быть до конца честным), и поднимаюсь над собой, и гляжу с закрытыми глазами, зорче зрячих, на свой город с высоты Александровской колонны, я вижу, как там, внизу, мы с Верой идём через ночную Дворцовую, на которой играет одинокий саксофонист. Мы останавливаемся, чтобы слушать растекающееся вокруг нас время. Да, музыка – это и есть время в чистом виде, беспримесное время, от которого ничто не отвлекает. Которому не мешает присутствие пространства и материи.

На последний мой день рождения мы сидели вечером с Близнецовым, разговаривали за принесённым им ноль-семь Курвуазье ВС и играли в шахматы под негромкое пение – плач ли, причет ли – Сесарии Эворы. Сашин отец всю жизнь проработал на шахматном заводе, и с детских лет у меня остались несколько подаренных им вот на такие же мои именины коллекционных наборов. У Близнецова постоянно звонил служебный сотовый, он сначала отвечал, потом поставил на режим «не беспокоить», потом и вовсе выключил его.

– Потому что, – сказал с улыбкой, – всё равно знаю, что там внутри этого «не беспокоить» звонят, и беспокоюсь только хуже.

Я, в общем, из солидарности выключил свой, потому что все немногие, кому было хоть какое дело, мне в тот короткий ноябрьский день уже позвонили и написали.

– В век всеобщей цифровой коммуникации, – говорю, – мы с тобой, Сашка, теперь для всего остального мира и всего прогрессивного человечества умерли. Полный офлайн по нынешним временам означает отсутствие всякого нашего присутствия в мире, то есть виртуальную смерть.

Он в ту минуту раздумывал, как ему бы спасти своего короля от острых кинжальных атак чёрных слонов. Отвлёкся и как-то очень вдруг серьёзно взглянул на меня:

– Мне тут показалось ночью на той неделе... как это бывает, когда умираешь.

– Как? – спросил я.

– Вот смотри, – он огляделся. – Ты можешь подняться сейчас, вытянуть руку вверх и, поскольку ты есть дылда, достать до плафона, легко, влево, да, туда. Ну, может, на цыпочки надо будет привстать, неважно. Можешь сделать шаг и дотянуться до своих шкафов, книгу взять, скажем. А смерть – это когда ты становишься таким маленьким, что не можешь дотянуться.

– До чего?

– Ни до чего, – сказал Близнецов. – Вообще. Даже до самого себя.

Имена

Вот имена людей, которые оставили след в жизни Белкина, каждый со своим отпечатком: Лев Аронов, Вениамин Громов, Дан Даркман, Семён Баранчук.

И вроде бы мало – к сорока двум-то годам, но с другой стороны и немало, при условии, что эти люди оставили не просто след, а каждый чуть ли не колею.

Проснувшись утром, он вдруг стал их всех вспоминать. Кто как возник в его жизни.

Аронов Белкина лечил. Останавливал кровотечение. Однажды в юности Белкину дали на улице в морду – как случается, просто так, без основания. И дали успешно: выбили зуб. Ну, леший бы с ним, с зубом, но вот кровотечение никак не останавливалось: час, два, три... Пришлось вызывать скорую. Ещё часа через два оказался в больнице. Пришёл один врач, осмотрел и хмыкнул, мол, что притворяешься, ничего у тебя нет, всё зажило. Белкин удивился, сходил в уборную – и правда, вроде затянулось. Прополоскал рот – вышла чистая вода. Но стоило только выйти за двери больницы, снова началось кровотечение – как будто и не прекращалось. Он вернулся. Врач на приёме, равнодушная толстуха, отказалась его снова принимать, мол, вас только что выписали, если хотите снова, вызывайте заново скорую. А кровь-то не унималась. «Ну, я могу вас оформить за деньги», – великодушно предложила женщина. Белкин от такого беспримерного вымогательства растерялся и согласился. Толстуха позвонила по телефону, явился новый врач. Высоченный – ровно двести один сантиметр, как он потом сам рассказал. Брюнет. Все семитские черты отразились в его лице. Совсем молодой, хотя вроде лет на пять (впоследствии выяснилось: на восемь) старше. «Лев Глебович», – отрекомендовался врач. Он повёл Белкина в кабинет, где велел тому сесть, а сам достал какую-то жидкость. И поднял Аронов стакан, и велел Белкину выпить эту жидкость, и почувствовал Белкин, как кровь во рту сама собой потеряла плотность и вкус и обернулась водой.

Они дружили лет семнадцать-восемнадцать, часто встречались, обсуждая то работу, то спорт, то женщин, то музыку, но в итоге разошлись на почве политики. Да не просто разошлись, а расскандалились вдрызг – однократно и навсегда.

Елена не успела познакомиться с Ароновым, а о безвременном завершении дружбы, которое случилось уже при ней, Белкин почему-то умолчал. Однажды, не так давно, когда после роковой ссоры прошло несколько лет, Белкин поведал ей печальную историю. «Тебя же до сих пор не отпустило», – заметила она.

Вениамин Петрович Громов преподавал историю зарубежной литературы на его отделении. Предмет совершенно излишний, как думалось Белкину. Да и сам Вениамин Петрович поначалу не казался приятным человеком – всегда очень бедно одевавшийся, подчас забывавший дома вставную челюсть, рассказывавший по бумажке, он, скорее, вызывал чувство юношеской жалости. Если бы в те годы существовал Интернет, конечно, студенты относились бы к Громову совсем по-другому – потому что все бы знали, кто он и что он (а был он о-го-го, одним из ведущих структуралистов – Господи, ещё бы кто-нибудь из них тогда знал, что есть структурализм). Однажды Белкин и Вениамин Петрович столкнулись на выходе из института – и синхронно охнули, потому что на улице лил библейский дождь, а зонты они оба презирали. В тот день обычно приветливый Громов на лекции просто-таки наорал на всех, а досталось больше остальных как раз Белкину – и лишь потому, что он сидел ближе. Вениамину Петровичу не понравилось, что в аудитории было слишком, по его мнению, шумно. Ну, плохое настроение, со всяким может случиться. Постояли они, посмотрели друг на друга – да и пошли вместе под водную стихию. А вскоре и град припустил, да крупный, громаднейший просто. И смотрел Белкин на преподавателя, и видел, что тот страдает от градин куда сильнее, а в глазах Вениамина виделось чуть ли не пламя, но никак не мог Белкин уловить, пламя ли это или просто отблеск фонаря, зачем-то не погашенного ранним утром? «А вы знаете, Боря, я зря закричал.

Тем более на вас. Просто понимаете, компьютер сломался дома, починить некому. И мама болеет сильно», – сказал Громов. Белкин удивился: Вениамину было уже точно за пятьдесят (а на самом деле под шестьдесят), и вдруг – мама. «Просто казнь какая-то», – добавил Громов. Белкин снова посмотрел на него. И показалось ему, что град сбил с преподавателя волосы, очки, выбил глаза, оставшиеся зубы, всё, что составляло его нутро, и все мысли выбил град, и все чувства, и инстинкты поломал.

«*But I can try to help you with the computer*», – солидно заметил юный Белкин. Ему нравилось играть в девятнадцатый век и переходить на другой язык, а Громов английским точно владел, Белкин знал. «Правда? *Indeed?*» – обрадовался Громов и снова обрёл черты. И на следующей лекции от щедрот отпустил студентов пораньше.

Много лет, очень много лет подряд забегал Белкин к Вениамину Петровичу в его маленькую двушку недалеко от Финбана (а иногда и сам Громов навещал бывшего студента). Немного помогал с компьютером – в меру знаний. Но никогда они не обсуждали что-то личное. В основном книжки, собственные публикации, но иногда и политику (в отличие от Аронова, здесь царило согласие), здоровье, родителей, студентов, даже спорт – будучи коренным ленинградцем, Громов в футболе за чем-то болел за какую-то московскую ерунду. И смерть, постигшая Громова на ровном месте лет пять назад, отозвалась в Белкине невыносимо острой тоской – тоской, которую он мог разделить с единственным человеком, с Еленой.

Дан Даркман – американец. Году приблизительно в девяносто четвёртом они вместе летели из Франкфурта в Москву. Белкин через столицу возвращался с конференции каких-то молодых учёных (странно, но тогдашняя деятельность напрочь выветрилась из головы, он бы смог описать, чем тогда занимался, лишь весьма приблизительно). Мероприятие проходило в Страсбурге, а ближайший к нему аэропорт, откуда в те годы можно было улететь в Россию, хоть и не в Питер, – как раз франкфуртский. Даркман летел из Америки – и не просто в Россию, а ни много ни мало на Сахалин, работал там. Прекрасно говоривший по-русски, Дан оказался чуть ли не самым лёгким человеком в жизни Белкина. Наверное, больше всего на это влияли деньги: они водились у Даркмана в невообразимом количестве, зарабатывал он на острове просто баснословно. Настолько, что он много раз прилетал из Южно-Сахалинска в Петербург просто так, поболтаться и поболтать с Белкиным, освежить старые интрижки и организовать (за пару дней) десяток новых. Именно Дан, сам того не зная, научил Белкина относиться к свиданиям и отношениям по-своему, по-даркмановски. Белкин-то рефлексировал каждую встречу и почти каждый разговор, а Даркман в каждом случае демонстрировал потрясающую беззаботность и даже хамство, впрочем, хамство вполне себе чарующее. И, похоже, Дан просто не догадывался, что может быть как-то иначе.

А тогда, в самолёте из Франкфурта, Даркман и Белкин сидели на одном ряду. Они спокойно летели, и вдруг приключилось неожиданное: во всём салоне погас свет. Сломалось освещение салона, не более, но выяснилось это отнюдь не сразу. Тьма, окутавшая всех их, была необычайной: густой и плотной, и стояла она, как показалось, три дня (хоть на самом деле не более трёх минут). Казалось, что тьме можно потрогать. А всяких-разных гаджетов, чтобы своими силами рассеять темноту, пока не существовало. Тьма сгущалась, сковывая движения замерших пассажиров, никто не мог шевельнуться, и никто не вставал с места своего, у всех же людей на земле свет был, и это хорошо видно было с высоты. Нелепая мысль заползла в голову Белкина: а готов ли он, к примеру, в случае авиакатастрофы остаться сам в живых, но с гарантированной гибелью прочих пассажиров, пилотов, бортпроводниц? И почему-то ответил тут же сам себе Белкин, что нет, какое-то странное спасение получится, пусть уж спасутся все, ведь никто из летящих не может быть избранной жертвой, хотя, доколе не окажешься в падении, не узнаешь, что надо принести в жертву. И сказал Белкин непонятно кому, что не оставит он попутчиков своих, и зажёгся через несколько минут свет, и приземлились они через час без затруднения малейшего.

А ещё был Семён Баранчук. Но тот оставил странный след в жизни: через свою жену Полину. Так что по большому счёту самого Семёна не следовало причислять к тем самым. Но без него не случилась бы Полина. А Полину включать в список вообще стыдно. Белкин и Баранчук поначалу жили в одном доме и регулярно здоровались у лифта. Здоровались, но особо не разговаривали – не о чем, подходящих тем для бесед не подворачивалось. А потом он женился, найдя семейное счастье где-то в Ленобласти, в Волхове, что ли. Привёз жену, она исправно забеременела, и вдруг случилось очень и очень страшное: сразу после рождения что-то произошло с их первенцем, им казалось, что сам Господь поразил младенца. Белкин, о ту пору лет пятнадцати, просто подвернулся им под руку: Семён с Полиной стояли у лифта и чуть ли не вдвоём плакали. Белкин стал расспрашивать – выяснилось, что первенцу нужен постоянный присмотр, больше чем на минуту нельзя оставлять его без внимания – может резко начаться удушье или что-то вроде того. Полина остаётся прикованной к дому. Семёну надо работать. Но порой нужно что-то срочно – в магазин сходить, мусор вынести, помыть чашку. Белкин вызвался помогать. Он каждый день после школы раза по три-четыре поднимался к Полине на седьмой этаж и спрашивал, надо ли ей что-то. Иногда было надо, иногда нет. Но каждый раз Белкин подходил к кроватке и смотрел на баранчуковского первенца. Он почти всегда спал, и по виду младенца никто бы не сказал, что ему грозит такая опасность. А ещё юный Белкин испытывал умопомрачительное влечение к Полине, но совершенно не знал, ни как его выразить, ни что с ним делать, когда он оставался в одиночестве в своей комнате. Белкин молча стоял, смотрел на спящего первенца и вдыхал запах испачканного неизбежным детским присутствием халата Полины. И Белкину, конечно, казалось, что такие мгновения длятся неисчислимо долго.

А однажды поздно вечером Белкина сокрушила мысль, и он обратился к Богу (Белкин взмолился, но он сам тогда этого не знал): «Помоги всем первенцам в нашем городе, всем, от и до, чтобы никто не болел». Что было далее, Белкин плохо помнил. Но всё организовалось так, что первенец Семёна и Полины выздоровел, сам Белкин вскоре после школы переехал, а в эпоху Интернета не испытывал никакого желания не только находить их, но и искать. И с чувством брезгливого самоуничтожения, постыдного удовольствия вспоминал подчас Полину – идиотский халат её, непрокрашенные корни волос, вечно грязные пятки из-за хождения босиком и нежнейшую, чистейшую, медовую – безо всякого внешнего воздействия – кожу. У Елены такая же, только лучше. Но она о том не знает.

...Хотел Белкин в тот же час, как проснулся, выйти из дома своего и пойти к Елене, но не мог, потому что стояло над домом облако, и благодать очевидного происхождения наполняла его сердце – а ночью вспыхнул огонь в нём, и вдруг устремился Белкин, что огонь этот виден не только ему, а всему дому, и виден был во всё недавнее путешествие его.

Третье

То, на что я наступил, возвращаясь домой, прежде было птицей. Прежде чем её раздавила машина, разодрала кошка, или, не знаю уж, что там с ней случилось. Переходил себе через дорогу в переулке с двумя большими пакетами припасов из «Дикси», и то ли я загляделся, то ли задумался, то ли что – вдруг почувствовал под ногой вместо привычной твёрдости асфальта отвратительно мягкое. Раньше это мягкое было, воображение дорисует, птичкой-невеличкой, щебетавшей себе по утрам в сквере под чьим-нибудь окошком (створка окна приоткрыта, чуть колышется за ней кружевной тюль от прозрачного ветерка или от прикосновений солнечного света), а теперь осталось сухим комком перьев, скреплённым какими-то жуткими жилками и запёкшейся кровью. Чёрт, у дворников выходной, что ли, был этим утром?

Вера, как забудешь, очень любила кошек, ми-ми-ми, вся эта патологическая айлурофилия... Видела она когда-нибудь, интересно, что милая эта киса оставляет от птицы?

Впрочем, может статься, напрасно я тут грешил на кошачье племя, и судьба этой птички-невелички решилась, например, бампером и колесом пролетавшего по переулку автомобиля. И что, многое ли остаётся от птичьей жизни, от упругого воздуха, крыльев, высоты, листвы и пения?... Сгусток разорванной плоти и перьев валяется у поребрика. Вот чтобы случайному шагу моему вляпаться в эти подсохшие останки.

Подумалось ещё: что такое есть птица для слепца, незрячего от рождения? Только чистое пение, которое не имеет ни зримого начала, ни подобного отталкивающего конца. Для него нет нашей привычной телесности птицы, тёплой и живой оболочки звука. Содержание отделено от ограничивающей его формы, от всей этой физиологии и орнитологии, и дано в своём совершенном и бесконечном виде – переполненным щебетом, чириканьем, трелями, стрекотом, утренним воздухом летнего сквера или Летнего сада... И когда этот воздух чуть поворачивается, и один из голосов исчезает из слуха – он не становится останками, от него не остаётся никакого следа, ничего, даже пустоты.

У Демидова моста мужчина и девушка (подруга ему? или дочь? – мне показалось возможным и то, и другое) обнимались, смеялись и делали селфи. Странное дело, что именно здесь; обычно для такого выбирают чуть дальше по каналу Банковский мост с его грифонами и прекрасной перспективой в сторону Казанского собора и Спаса-на-Крови.

Уголком улыбки коснувшись чужого фотосчастья, я свернул к себе со своими пакетами, то и дело на ходу инстинктивно поглядывая под ноги.

Доступность цифрового хранения огромных объемов информации породила в современном человеке какую-то странную страсть к запечатлению и повторению. Возможность создать и сохранить копию жизни – как фото, видеозапись, репост, и проч., и проч., и проч. – создаёт иллюзию возможности её, жизнь, воспроизвести. А когда захочется – нажать паузу, отмотать, пересмотреть... Число персонажей, которые на любого рода шоу – концертах, демонстрациях, массовых гуляниях, фейерверках, фестивалях, футбольных и прочих матчах – снимают, а не смотрят, растёт с каждым разом, как я за этим наблюдаю. Остановить мгновение, сберечь – как нам кажется, навсегда – ускользающее, одноразовое настоящее – вот что стоит за всеми этими попытками.

Близнецов, скажем, не любил ни фотографироваться, ни фотографировать. Сколько у меня осталось его фотографий? Одна, две, и те едва ли не студенческих времён. «Со мной всегда только одна камера, вот тут, – говорил он, прикладывая ладонь к груди. – Самая лучшая оптика, экспозиция, естественные цвета и стабилизация изображения». И вместе с тем, это тот

же самый человек, что написал прекрасное «Двенадцать фрагментов ископаемой жизни моей от фирмы Кодак»... Саша, впрочем, – вообще одна большая флуктуация.

Здесь мы ведём речь не о повторяемости истории, не о вечном возвращении, концепции временных циклов или Уроборосе, змее, пожирающем свой хвост в бесконечной цепи неразрывно переходящих одно в другое рождения и смерти, творения и распада. Об этом обо всём разговор иной, и с такими глубинными мифологическими структурами имеет мало общего (вернее сказать – ничего) маленькое частное желание современного человека закрепить себя во времени. О, нет, не подумай, друг мой, что я говорю о современном человеке с какой-то иронией или, упаси меня, с презрением. Я его, маленького интерактивного человека со всеми маленькими человеческими желаниями, люблю всем сердцем, как и человека любого времени – от которого «современный» отличается, в сущности, только тем, что не выпускает из рук свой смартфон.

Житель классических Афин, идущий в шумной толпе вместе с согражданами на юго-восточный склон Акрополя в дни Великих Дионисий или Леней, знал, что в приготовленном для него на сегодня в театре состязании трёх поэтов, трёх хорегов и их хоров ни одна из трагедий не была показана никогда прежде и не повторится больше никогда. Что увиденное он видит лишь однажды и – вне зависимости от того, насколько прекрасным оно окажется, – никогда не будет дано к нему вернуться. Эта неповторимость и уникальность каждого представления – а за его пределами каждого дня и каждого события вообще – и породили, собственно, представление о человеческой истории как о разворачивающейся во времени последовательности неповторимых событий.

Житель же современного Петербурга, купив билет в театр или кинематограф, на выставку или ещё куда, знает, что по его желанию шоу может повториться для него множество раз. Я и сам, к слову сказать, четырежды один (и с Верой однажды, да) смотрел «Дядю Ваню» с прекрасными Курышевым и Раппопорт в Малом драматическом.

Любой фильм, матч, спектакль, концерт в наше время можно неограниченно смотреть и пересматривать в записи. REPEAT – вот совершенный девиз нашего времени, в котором всякая минута утрачивает свою одноразовую неповторимость. Стремление к сохранению – сначала только самых важных событий в жизни (сколько было фотографических карточек у наших пра- или прапрадедов, несколько штук, десятков-полтора на всю жизнь?..); потом, в поколениях дедов и отцов, – всё большего и большего числа быстрокрылых бабочек-мгновений настоящего (лепидоптерофилия – так оно называется, подскажет Гугл); а нынче уже едва ли не каждого похода с друзьями-подружками в кафе (десятки фото), в музей или театр (десятки плюс видео), поездки в отпуск (сотни и тысячи!) – это стремление к сохранению всего подряд, безотборочно каждого из ломких лепестков мумифицированного времени, в действительности обесценивает совершающееся вокруг, переводя участника и соучастника жизни в позицию наблюдателя. Человек смотрит на мир через видоискатель и видит только вид, в котором он находится снаружи, а не внутри себя.

«Ладно, – напишет мне читательный вниматель этого воображаемого блога. – А в чём же тогда разница между вот такой повальной, как ты пишешь, страстью к визуальному сохранению происходящего времени и твоим собственным дневником? Ты видишь остатки смысла в том, чтобы записывать свои дни один за другим, так почему ты отказываешь в смысле и ценности тому, чтобы сохранять день в картинке, а не в слове? Какая разница, что именно ты прищипливаешь булавкой к листу?»

Кажется, никакой. Да, никакой, кажется.

Но если присмотреться, как в журнальном ребусе из детства «Найди десять отличий», одно отличие нам с тобой, возможно, удастся обнаружить.

Сегодня мы всерьёз близки к тому, чтобы всё, происходящее в пределах двух с половиной миров постиндустриального (сиречь информационного) общества, вообще всё происходящее записывалось камерами наблюдения на перекрёстках, улицах, в переулках, во дворах и подъездах, автомобильными видеорегистраторами, камерами на квадрокоптерах, улучшающейся с каждым годом оптикой мобильных девайсов.

Однако весь этот бурлящий и переполняющий каналы фото- и видеопоток сохраняет только наружную оболочку, восковой слепок, внешность времени, но не его внутреннюю жизнь. И, да, сны – вот что не может никакая из камер записать, сохранить, воспроизвести.

И воззвал

И позвонил Белкину неизвестный, и сказал ему из своего небытия: Борис Павлович, хотите ли вы оказать величайшую услугу Господу?

Белкин перепугался презрительно. Он только-только вышел из аэропорта, весь в мыслях о чём угодно, кроме как об окружающих обстоятельствах. Белкин даже забыл, что вообще существует ещё что-то, помимо его дум. И вдруг – телефонный звонок с неизвестного номера. Ну, это только у Елены хватает совести не отвечать, она же такая, Елена-то, рыжая, крепкая, наглая, даром что моложе. А сам Белкин никогда не успевал отключить рефлекс – то есть не сдвигать сразу стрелку звонка вправо, а сперва подумать, нужен ли ему чей-то звонок. Вот и ныне.

– Здравствуйте. Борис Павлович?

– Да, слушаю вас.

– Меня зовут Владимир Воловских. Я отец одного из ваших бывших студентов.

– Чем могу помочь?

– Борис Павлович, хотите ли вы оказать величайшую услугу Господу?

Борис Павлович немного струхнул – он не то чтобы боялся странных людей, говорящих полную белиберду, но странные люди, говорящие полную белиберду, вдобавок знающие его имя-отчество и номер телефона... Чуть тревожно.

– Извините, я вас не понимаю.

– Это вы меня извините. Я не с того конца зашёл. Знаете, случилось несчастье: у меня пропал сын. Ваш студент. Бывший.

– Вашему горю я очень сочувствую, – оттарабанил Белкин как по вызубренному. Ему стало легче и чуть веселее.

– Спасибо. И вот мне нужна помощь. Ваша помощь.

– Это не исключено, но как же я могу... э-э...

– Борис Павлович, я не могу такое обсуждать по телефону. Всякое бывает. Лучше лично. Как вам?

– Мне? Да откуда я знаю, как мне. Я только что из Кёльна прилетел, понимаете?

– Понимаю. Я потому и не звонил вам раньше. Не хотел вас тревожить в командировке. И роуминг у вас, наверное, дорогой.

– Недешёвый.

– Но сейчас я точно знал, что вы приземлились, и сразу же стал звонить.

– И что вы хотите? – Белкин не обратил внимания на подозрительное всеведение собеседника.

– Поговорить с вами.

– Когда?

– А вот сразу и поезжайте ко мне.

– Сразу?!

– До меня из Пулково очень близко. Я на Электросиле живу. Берите машину. Я вас встречу внизу и заплачу за такси. А домой вас потом водитель отвезёт.

«Я есть я плюс мои обстоятельства», – пронеслось в голове Белкина.

– Ну-у... Теоретически это возможно. Хотя я весьма устал.

– Хотите, оформим как консультацию. Я вам дам денег. Время не потеряете.

– Что-о?! Нет уж. Оформлять мы ничего не будем. Я лучше домой поеду. На метро.

– Борис Павлович, я не сумасшедший. Просто мне нужна ваша помощь. Пожалуйста, откликнитесь.

– Коли так складываются обстоятельства... Только скажите свой полный адрес. Заранее. Чтобы не получилось так...

– Как?

– Ну, помните – «И дорога-ая не узна-ает».

– Вы серьёзно?

– Да. Без этого я не поеду. Фамилию вашу я запомнил, номер определился. Так что, сажусь в такси?..

...Спустя полтора часа Белкин вышел из дома Воловских – целый и невредимый, но ещё более утомлённый и окончательно потерянный. Из стоящей у подъезда машины окликнули: «Борис Павлович, едем?»

Но тот не ответил. Он просто не слышал слов водителя, а о том, что его в принципе должны куда-то везти, он благополучно забыл. Водитель быстро поднёс трубку к уху, буркнул пару слов, помолчал, слушая, а затем снова углубился в телефон.

Белкин шёл и шёл, толкая свой глупый чемодан, не понимая, кто он и что он.

«Допустим, допустим, всё это возможно, – по давней привычке вслух, но очень тихо бормотал Белкин, – но ведь надо найти какой-то подход, способ, что-то придумать, от чего-то оттолкнуться».

«Мои правила. Я так и сказал, мои правила. А какие у меня правила? Ну, брат, у меня правила вот какие: честность и основательность. Эх, – Белкин основательно выматерился, – вот встрял, и что ж теперь делать? Носки стирать, вот что».

Он очнулся, едва не врезавшись в какого-то мимоходца, и понял, что отмахал чуть ли не триста метров лишних – вход в метро остался сзади.

Правильно ли он поступил? Может, стоит переменить решение? Нет. Не должно разбигать, хорошее ли то, или худое, и не должно заменять его.

Четвёртое

Что я вспомнил утром, пока кофе-машина молола для меня свежую порцию арабики: ровно одиннадцать лет назад была наша с Леной свадьба. Мы подали заявление в тот же день, когда получили дипломы, сразу с Васильевского, как были, поехали с ней в ЗАГС на Фурштатскую, оформили письменно и собственноручно наше взаимное добровольное согласие на вступление в законный брак, подтверждая отсутствие обстоятельств, препятствующих его заключению, а потом пили вдвоём martini в дальнем уголку Таврического сада, откуда нас – уже совсем вечером, пьяных и счастливых – забрал Вадик и отвёз домой.

«Несколькими годами ранее», как написал бы автор этого сценария, дождливым, промозглым, продуваемым ветрами всех четырёх сторон света днём в конце сентября второго курса часов около шести захожу я в любимый «Чай и книгочей» на Фонтанке. Я навещаю его не реже двух раз в месяц, возвращаясь обычно домой с охапкой новых и старых книг (в «ЧиКе» рядом с чайными столиками есть два стеллажа для букинистических изданий), и в тот вечер спускаюсь из ливня, и ветра, и почти касающейся крыш облачности по ступенькам в их уютный и тёплый подвал, в эти декорации книжного рая, стряхиваю за дверью зонт, чтобы пристроить его на вешалке у входа, расстёгиваю верхние пуговицы плаща и уже поворачиваюсь направо по доброй традиции раскланяться с Эльвирой Ильиничной. Однако вместо неё за столиком кассы, вот сюрприз, сидит моя рыжеволосая однокурсница Лена, кажется, Туманцева, из параллельной тринадцатой группы.

Она смотрит на меня очень внимательно, без никакой улыбки, если только едва-едва в самых уголках глаз. И больше никого, ни души в обеих комнатах этого подвальчика нет, и слышно, как снаружи по козырьку над окошком выстукивает стаккато не знающий милости и усталости дождь.

– Ух ты, – говорю я, – привет! Ты здесь работаешь теперь?

– Пока подменяю, вторую неделю, – отвечает моя однокурсница. – Но, может статься, скоро, да, буду всё время работать. Льёт сегодня, конечно... А я вот зонтик свой с утра забыла.

Она предлагает горячего чая, но я зачем-то сразу отказываюсь. Мы разговариваем, в то время как я перебираю лежащие около кассы книжные новинки, и Лена, приехавшая поступать на наш филфак с края земли, из Большого Камня – что в сотне километров от Владивостока, рассказывает, что дома у неё осталась одна бабушка (я деликатно не любопытствую, что с родителями, и узнаю об этом очень ещё нескоро), денег с самого начала едва хватало платить за комнату, и она с первого курса во второй половине дня после учёбы работает – почти год в «Евразии» на Пироговской набережной, там неплохо, в общем-то, только очень выматывает и смена допоздна, а неделю где-то назад добрая тётушка-соседка по площадке и подруга Лениной домашней хозяйки – удивительным образом оказавшаяся этой самой моей Эльвирой Ильиничной, владелицей «Чая и книгочей» – спросила, нет ли у Лены, желания и времени поработать в книжном магазинчике. У Эльвиры Ильиничны тяжело заболел старик отец, ему нужен теперь постоянный уход, и времени ей самой сидеть круглыми днями в своём магазине почти не остаётся. Брать человека с улицы она опасалась, и подруга-соседка удачно посоветовала ей в помощь свою молодую и очень, кажется, ответственную квартирантку. Несмотря на небольшую потерю в деньгах, удобнее это оказалось и для Лены – новая работа гораздо ближе к дому да и спокойнее, перед закрытием или вот как сегодня часто выдавались целые часы без посетителей, когда можно читать, конспекты писать или что-нибудь другое по учёбе.

Через час я уношу домой под мышкой замотанную от дождя в несколько пакетов толстую стопку новых книг, той ночью, уже засыпая, всё пытаюсь разобраться, зачем так поспешно ответил отказом на чайное предложение и не слишком ли резким выглядел мой отказ, потому

что я совершенно не имел в виду как-то её отстранить или обозначить дистанцию, а просто не хотел утруждать, ведь оно было совершенно неважно, чай весь этот, и разве что, если бы ещё раз... А на завтра с утра, найдя взглядом Лену в большой аудитории перед первой парой, общей лекцией для всего потока, сажусь с ней впереди, на втором ряду, едва ли не впервые входя в ойкумену смертных с олимпийской своей камчатки.

Всё дальнейшее в следующие семь лет нашей жизни сложилось само собой, естественным ходом вещей. Могли ли наши судьбы избежать друг друга, соприкоснуться и разойтись, переплестись с какими-нибудь иными – в такой огромной, толпливой и шумной семье современников? (Сейчас пишу и думаю, что мой вопрос сродни тому, что мучил меня в детстве: если бы я родился у других родителей, если бы мама не встретила отца на концерте «Странных игр» и «Аквариума» в ДК Ленсовета, ушла бы оттуда, скажем, с кем-нибудь другим, а не с ним, тогда как – я бы у неё потом родился через два с половиной года или не я? А если не я – может быть, она осталась бы жива, но что тогда было бы со мной? Мог ведь и в Мозамбике или Йемене каком-нибудь увидеть мир милостью божьей... или нет?) Примерим найденный тогда мальчиком ответ и к нынешнему вопросу: тот я, который думает об этом, думает об этом потому, что всё сложилось именно так, как сложилось, потому что судьба, о которой ты думаешь, – совсем не то, что с тобой будет. Судьба тождественно равна тебе самому, всему, что с тобой было. Судьба всегда тебе по росту. И значит, сегодня та наша встреча в «Чаше и книгочехе» пятнадцать лет назад неизбежна.

Вадик, малый добрый, но глупый, спросил меня однажды в душевном по его разумению разговоре, уже после нашего с Леной развода: «За что ты полюбил-то её, Лёш?» Что там я ему ответил, раньше она была такой, какой бы мне хотелось, чтобы она была, конечно, без подробностей, и сменил тему. Разве скажешь про рыжие кудряшки, и как она по-разному улыбалась уголками глаз, и про пальцы, и ночное её дыхание... Мне нравились Леночкины руки и что она иногда говорила, как никто другой никогда не скажет. Помню, я пришёл к ним на втором курсе на семинар по «Морфологии сказки» Проппа, какое-то там у нас окно возникло между парами, и я попросился к Семёнычу (когда-то, полвека назад, он у этого самого, для нас совершенно мифологического, Проппа писал здесь на ФФ свою дипломную работу) посидеть с тринадцатой группой (репетицию эст матэр студиорум, Сергей Семёнович, намерения исключительно благие!...). И вот рыжеволосая, высокая и стройная Туманцева, прямая и уверенная, стоит перед нами, рассказывает о структуре волшебной сказки, говоря обстоятельно и по делу, а в завершение, убеждён, совершенно и для себя самой внезапно, сообщает аудитории, что в конце истории «несмотря ни на всё, герой побеждает». Группа хохочет, даже вечно каменный Эс Эс пытается укрыть смех покашливанием в кулак, и она сама понимает вдруг и смеётся. Ну не чудо ли? Говорю ей потом, после пары: «Леночка, твои слова надо золотыми буквами в мраморе выбить и вот здесь на стене филфака повесить – в назидание грядущим поколениям».

Жаль, что случается это «несмотря ни на всё» только в волшебной сказке.

Было ещё потом, помню, когда в моём парадном поставили первые камеры и я отнёсся к такому нововведению несколько скептически, что они, бурчал, следующим шагом будут аудио-видео в квартирах записывать, от прихожей до спальни, Лена поднималась впереди, обернулась ко мне и сказала: «А нам с тобой что скрывать? Кому надо, тот и так что надо знает. У боженьки везде видеокамеры и микрофоны».

Да много чего было.

А с Близнецовым мы никогда не говорили о Лене полностью откровенно. Не оттого, что скрывали друг от друга что-то, она просто оставалась общим местом умолчания, ничьей землёй между нами. Я знал, что он был влюблён в неё, и знал, что он знает о том, что мне это известно.

И она знала обо всех этих наших бесконечных, как матрёшки, знаниях. Мы почти не говорили с ней о нём, о ней с ним. И они вдвоём никогда не разговаривали обо мне без меня, я верю безоговорочно.

Сегодня я хочу помнить, что всё было хорошо. Я не позволю памяти коснуться сегодня той ночи в Большом Камне, третьей ночи после того, как мы с Леной похоронили её бабушку. Молчи. Сегодня нет.

В пустыне

И захотел в ту ночь Воловских исчислить своё семейство по числу имён, всех мужского рода поголовно, и стал шептать вслух имена от прапрапрадеда, о котором он знал хотя бы что-то (точнее, как раз только имя и знал), и заплакал в итоге – в очередной, двадцатипятитысячный раз заплакал. Рувим, сын неизвестно чей, Семён, сын Рувима, Вениамин, сын Семёна, Иосиф, сын Вениамина, Ефрем, сын Иосифа, он сам, Владимир, сын Ефрема, Алексей, сын Владимира... И всё.

Всё.

Всё.

Годы, годы, десятки лет Воловских думал, что самую большую боль пережить ему уже довелось – и это была не одномоментно возникшая боль, а разрастающееся, неотступно заливающее, подобно утреннему солнцу на юге, ощущение невозможности думать, слушать, смотреть и говорить. «К сожалению, умерла», – пожали плечами в роддоме. «Сепсис, тут мы бессильны», – пояснил врач. «Командир, закапываем?» – деловито спросили на кладбище. «Глубоко соболезную», – обронили в загсе. С каждой подобной репликой – а слышал он их куда больше! – боль разрасталась и подавляла. И лишь благодаря тому, что рядом с ним, с Владимиром, кто-то постоянно находился, родственники, сиделки, врачи, он и сумел не провалиться в забытьё и спустя много лет восстановить в памяти те страшные несколько лет.

Долго царь был неутешен, но как быть? И он был грешен.

В какой-то момент Воловских приказал себе: либо надо вешаться, либо выплывать. И стал выплывать. Бросил НИИ, по знакомству прибил к ведомству, стал подниматься, появились женщины, на одной, конечно же, чуть ли не вдвое моложе, он даже экспериментально женился (дело продлилось несколько лет; после развода Воловских потрясённо осознал, что формально со второй женой он прожил дольше, чем с первой). А главное – Алексей.

Он болел, капризничал, психовал, но Воловских денно и нощно придумывал, что бы для него сделать, как бы ему помочь в фатально неизменной ситуации, и в результате получилось: Алёша превратился хоть и в растяпу и изрядного обалдуя, но обалдуя учтивого, спокойного и, в целом, сердечного. Никак не мог себя найти, но тут уж... Воловских беспрерывно предлагал то одно, то другое. Каждый раз, когда Алёша увольнялся (или его увольняли, что тоже случалось), в домашних разговорах всплывала пресловутая фраза: «А может, в ведомство?» И каждый раз учтивый Алёша учтиво предлагал отцу пройти по известному маршруту – грубо, но прямо. Воловских не сердился, так как ничто другое в Алёше не вызывало такую реакцию. Ругаться он не любил. А вот искать работу, кажется, просто обожал. Настолько, что, найдя новую, вскоре начинал скучать по процессу поисков и прикладывал все усилия, чтобы покинуть нынешнее место. Что только ни случалось! И напивался на работе. И прогуливал. И непотребством занимался в кладовке (услышав подробности того случая, Воловских всерьёз предположил, что Алёша сделал всё возможное, чтобы их с секретаршей – спасибо, сын хоть уберёг отца от демонстрации фотографий! – обнаружили непосредственно во время процесса). И нахальничал с начальством.

В результате знакомые Воловских затвердили, что спрашивать о сыне – по крайней мере, о его рабочих успехах – не надо. Первое-то время все наперебой интересовались, что там, мол, господин Андреев (Воловских дал сыну фамилию жены – осознанно. От неё, фактически, ничего вообще не осталось – так пусть хоть будет фамилия). А что про него сказать? Где-то редакторишка, где-то корреспондентик, где-то фоточки фотографирует, занимается совершеннейшей ерундой, даже стишки ленится писать. Так-сяк – вот и вся его жизнь, Алёши-то. И с личным та же петрушка получилась: бегал от одной к другой, пока мальчика не охомутила

какая-то рыжая, но как охомутала, так он и расхомутался через несколько лет. Туманова, как там её? Туманцева, кажется. Да.

А самому Воловских меж тем подходило к семидесяти. На пенсию несколько лет как вышел – впрочем, без малейшего сожаления. Денег подсобрать за четверть века прилежной службы удалось более чем изрядно, так что о хлебе думать не требовалось. А служба как таковая... Да кому она вообще нужна, служба эта?

И вот настал тот неблагоприятный день, когда ему пришла в голову мысль: а не съездить ли вдвоём с Алёшей в жаркие страны? Вдвоём они никогда не отдыхали: пару раз доводилось куда-то путешествовать в компании друзей или родственников, но не иначе. И вот решили и решились. К удивлению Воловских, сын отнёсся к идее благосклонно: впрочем, с чего бы ему вдруг отказываться? За счёт отца почему бы и не полететь. Спор возник лишь при выборе места. Воловских настаивал на ОАЭ, сын твердил, что далеко и нудно, там, дескать, можно пить только пиво, и то – в туалете, накрывшись одеялом. Отец аргументировал, что хочется уединения, Алёша парировал, какое же уединение в таком популярном месте? В результате сошлись на удалённом от цивилизации египетском курорте Марса Алам (мгновенно сокращённом ими до «Марсалям»), где и оказались. Прямых перелётов не нашлось, поэтому пришлось добираться через Хургаду. Самолёт был переполнен худшими представителями выезжающих на отдых, однако Воловских относился к этому философски, а Андреев, чтобы не беситься, сделал тайком несколько щедрых глотков из предусмотрительно купленной в дьюти-фри бутылки, после чего заснул настолько успешно, что эффекта хватило и почти на весь длинный утомительный переезд на такси до Марсаляма.

Дни их в пустыне проходили странно. Алёша, выказывая общее довольство ситуацией, без устали роптал по мелочам. То еда была слишком однообразной. То упрекал отца в повторном браке – его вторая жена постоянно возникала вновь и вновь, требуя то одного, то другого (Воловских ехидно напоминал сыну о Туманцевой). То отказывался ехать на экскурсию в Израиль («Иерихон? Да кому он нужен!»), грозя сесть в такси, уехать в Хургаду, а оттуда вернуться в Петербург. На всё это Воловских реагировал стоически. Он не исключал такого развития событий и, даже более того, предполагал, что может быть хуже. Главное, говорил сам себе Владимир, сохранять спокойствие.

Когда напряжение спадало, они купались и ужинали (обедать из-за жары не было сил), обсуждали политику и женщин. Вечерами Воловских, как и всегда на отдыхе, включал на компьютере сериал, в смысл которого никогда особо не углублялся, и сидел, глядя поверх экрана в полумедитации. Чем занимался Алёша в эти часы, он не знал и знать не хотел.

А однажды сын не вышел к завтраку. И вообще нигде не появился. Через несколько часов обречённо сконцентрированный, предельно наэлектризованный Воловских кое-как, пользуясь скудными горстями познаний в английском, объяснил служащим отеля ситуацию и попросил их открыть дверь номера Алёши. Там никого не было. Чемодан, паспорт, кошелёк с убогим содержимым, петербургская одежда, ноутбук – ничто не пропало, кроме их хозяина. Впрочем, пропали плавки. И полулюбительская маска для ныряния. И обувь специальная для воды.

Сразу же стало понятно, что случилось. Полиция провела с Воловских долгую беседу (слухи по отелю расползлись быстро, и, вопреки ожидаемому, это принесло и пользу: среди прочих отдыхающих нашлась добрая душа, некая Катя из Казани, которая хорошо говорила по-английски и вызвалась переводить Воловских всё, что будет нужно), пытаясь его убедить в бесполезности дальнейших поисков. Не бывает такого, говорили участливые египетские копы, чтобы человек исчез таким образом, а потом вдруг снова объявился.

И к тому же они не просто говорили. Они действительно расследовали дело, по крайней мере, добросовестно пытались: нашли людей, которые видели тем вечером молодого человека в пляжном прикиде, идущего к морю. Показали им несколько фотографий разных мужчин. Все опознали Алёшу.

Катя из Казани некстати вспомнила историю о какой-то дайверше, мировой рекордсменке, которая года два-три назад нырнула и не вынырнула.

Под конец сам Воловских, покопавшись в памяти, извлёк из неё фамилию «Близнецов». Как же его звали? Миша? Саша? Вроде, Алёшка рассказывал, что Близнецов – поэт, и утонул чуть ли не в Крыму, в старом Крыму, до того как. Воловских поискал в Интернете – да, действительно, существовал такой Саша Близнецов, только, судя по записям, не поэт, а переводчик. И в самом деле утонул.

Обстоятельства указывали на то, что произошло нечто сокрушительное. Но пока Воловских оставался в Марсальяме, он пребывал в незавершённой ситуации. Была тоска, была въевшаяся тревога, но боль – та самая боль – приходить не спешила. Ведь до той поры всё оставалось как в последний вечер. И изредка, крошечными микросекундами, Воловских казалось, что он в порядке. Не осознавая этого, он откладывал и откладывал возвращение. День, два, ещё неделя, ещё неделя... А потом он вдруг в один час собрался и уехал. Вызвал такси, даже не зная, когда ближайший вылет – просто не думая о подробностях. Конечно, ни о какой удаче и речи быть не могло: ему пришлось просидеть в аэропорту Хургады больше пятнадцати часов, включая ночное время, пока его не посадили на дополнительный рейс до Москвы (а там и до дома).

И накренился самолёт на левую сторону, и увидел Воловских внизу самое синее Красное море и, потрясённый, осознал величие случившегося. И испытал он боль, доселе неиспытанную, в сравнении с которой боль от потери первой жены в родах показалась чуть ли не прикосновением бриза морского, и закрыл он глаза, и дал себе неожиданно клятву, что никогда, ни за что, ни при каких обстоятельствах, хоть бы и прожил ещё пятьдесят лет, не побывает больше ни здесь, в пустыне Египетской, ни на равнинах Моавитских, у Иордана, против Иерихона.

Пятое

Потому что дом стоял на краю посёлка, и было дому сто лет. Во времена былинные, столыпинские, деда туманцевской бабушки ветрами истории подняло с земли его предков и унесло из Псковской губернии сначала в Сибирь, а оттуда и дальше – за Амур, на самый край земли русской, к Тихому океану. Там прапрадед осел и поселился, поставил этот самый дом, занимался кузнечным своим ремеслом. Там он удивительным образом сдружился близко с японским солдатом Шичиро, попавшим в русский плен под Инковым и отчего-то оставшимся в чужой стране после окончания войны, женившимся на местной и устроившим на странный иноземный манер своё хозяйство неподалёку. Что нашли друг в друге русский кузнец с японским крестьянином, сейчас, ясное дело, никто не припомнит и не расскажет, но, когда полтора десятка лет спустя подросли их дети-одногодки – сын у Павла Никифоровича, дочь у Шичиро, между семьями решено было породниться. С согласия и к огромной радости самих отрока и отроковицы, помнивших совместные детские игры и симпатии с первых своих сознательных лет. Они прекрасны и счастливы на первом в их жизни фото (с чернильным оттиском штампа «Фотоателье М. А. Тамм быв. Подзорова, Владивосток, Ленинская, 49»): будущий бабкин отец уже широк в плечах, статен и светел лицом, а от тёмно-рыжих, густых, укрывающих плечи волос Морики – в посёлке звали её Мариной – от больших тёмных глаз, глубоких, как лесное волшебство, и, кажется, чуточку косящих, не оторвать взгляда, не забыть их, только раз увидев. В этом самом доме, теперь на несколько дней приютившем нас с Еленой, год спустя после свадьбы у Петра и Морики родилась девочка, а в следующие шесть лет – ещё две.

Младшенькой дочке не исполнилось и пяти, когда родителей арестовали как японских шпионов. Старших сестёр увезли в детдом во Владивостоке, а младшую, бог весть отчего, оставили на руках овдовевшего к тому времени деда – разменявшего седьмой десяток Павла Никифоровича. После его смерти на последнем году войны девочка с тёмно-рыжими, как у матери, волосами осталась одна на всём свете – и родители, и сёстры её сгинули в утробе плотоядного своего времени...

Вечером на третий день после похорон мы с Еленой пили чай с бабушкиными травами. Она с самого утра прибирала в доме и нашла какие-то мешочки и коробочки в старинном, довоенных ещё времён, кухонном шкафу, отложила уборку, искала по комнатам и ящикам древние, потёртые, но крепкие общие тетради, заполненные крупным и медленным бабушкиным, кажется, почерком, и полдня разбиралась в наследных этих старухиных сокровищах; а потом сказала, что всё вспомнила и узнала, что здесь вот – для крови и сердца, вон то – для острого зрения на долгие годы, эти травы – бабушка пила для слуха, а что вот этот, например, сбор, не помню названия, помогает любящим супругам зачать долгожданного ребёнка.

Той ночью она любила меня так восхитительно, как, казалось, невозможно наяву. Окна её комнаты выходили на сопки, и не было преграды лунному свету вдоль каждого движения сжатых в единое тел.

Мы долго после лежали недвижно в комнате, в которой не осталось ничего, кроме сердца, птицей бьющегося о рёбра, её и моего дыханий. Затем, уплотняясь в себя обратно, из тысячелетнего небытия стали появляться таинственным образом на той стороне взгляда старенький письменный стол с накрытой платком лампой и задвинутым стулом, две книжных полки на стене над ним, антресоли над дверным проёмом, платяной шкаф с приоткрытой дверцей, освобождённые от формы наших тел одежда и бельё в лунном свете на полу... Распахнувшиеся мироздание и время сжимались в нас обратно над континентом, спящим посёлком на берегу океанской бухты, заброшенной железнодорожной веткой, старым домом, маленькой комнатой,

нашими остывающими телами. Закрыв глаза, она держала мою ладонь, сжимая крепко своими тонкими пальцами, потом всё легче и слабее, слабее, пока не уснула.

Можно остановить письмо, воспроизведение, но не воспоминание. Оно имеет над сознанием непререкаемую власть, от его повеления не увильнуть, не отвернуться, не укрыться даже в самом укромном месте. И я вынужден, мне необходимо продолжать.

Во сне я почувствовал, как покалывает или пощипывает левую ладонь и пальцы, не больно, но ощутимо это проникало в самую мякоть, в тёплую глубину сна. Я открыл глаза, в комнате было темно и неслышно, луна ушла, наверное, за дом, но глазам оказался не нужен свет, чтобы увидеть, что около упавшей с кровати левой моей руки сидит крупная лисица и покусывает, играючи, мои пальцы. «Как ты здесь, закрыто же всё?..» – подумал я ещё изнутри сна, и она, то ли почуяв мой взгляд, то ли услышав вопрос, то ли оттого, что я, поворачиваясь, шевельнулся, подняла голову. Она не двинулась с места и сидела так, глядя мне в глаза очень внимательно и спокойно, и я увидел, я увидел в темноте без света, каким-то первобытным, животным, предчувствующим зрением я увидел, как уголков этих больших и бессмысленных лисьих глаз чуть коснулась улыбка какого-то понимания.

Сердце остановилось, и то, что эту одну минуту или меньше было мной, провалилось обратно в навсегда неподвижной и порожней чёрной пустоты.

Мне снилось, что Лена сидит рядом и гладит мои волосы, спускаясь ладонью к затылку, шее, плечу, спине под лёгким летним пледом, и, чуть наклонившись, шепчет надо мной, едва-едва раздвигая губы: «Готовьтесь к слепоте, готовьтесь к слепоте, ты, по судьбе мне доставшийся, и ты, кого возжелала я от живой плоти своей, готовьтесь, ты, мой единственный, и ты, другой, наречённый, назначенный дать во мне плод от плоти моей, готовьтесь, с вами пребудет тайна моя крепко и лепко, готовьтесь...», – я слышал, понимал, не разбирая, каждое слово, я видел всё, но не мог пошевелиться, ладонь её останавливала движение моей крови, я был во сне пустым множеством разрозненных элементов, этой ночью, я не знаю ещё, но она уже разделила меня навсегда, развела нас всех по временам и местам так, чтобы я никогда больше не встретился с собою. В какое-то мгновение, если она вообще оставила мне время той ночью, я понял, что я лежу на спине, что ладонь движется подо мной, не встречая, где, казалось, должна бы, сопротивления тяжести тела, лежащего на матрасе, потому что кровать была далеко подо мной, и я, проснувшийся от этих слов и прикосновений, лежал в воздухе над собой, спящим.

Наутро я вышел из дома, собираясь в посёлок искать попутку, когда увидел, как Лена спускается от леса по дороге, идущей из посёлка на сопку. Она издали радостно махала мне рукой, в другой руке она несла большую бабушкину корзину, то и дело поднимала её и что-то, смеясь, мне кричала, но ветер с бухты трепал и распускал нестойкие слова на разрозненные, едва долетавшие до меня, звуки.

Я стоял в шаге от крыльца и смотрел, как она подходит всё ближе и ближе, как она уже совсем рядом со мной. Подол длинной красной юбки промок от росы, на рукавах старенькой домашней кофты налипли какие-то лесные нити-паутинки. На последних шагах Лена почти подбежала ко мне, поставила накрытую платком корзинку на землю и, не отводя, не закрывая глаз, поцеловала меня в губы.

Мне вдруг почудилось с какой-то странной, обречённой уверенностью, что сейчас она, наклонившись, сдёрнет платок с этой – не у ручья ли лесного найденной? – корзины, и в ней будет лежать рыжеволосый младенец. Девочка спит и едва слышно покряхтывает во сне, потом оранжевое тепло касается тонкой перепонки век, пробуждая живую глубину под ними, и она открывает глаза и смотрит на меня прапрабабкиным, чуть косящим взглядом с фотографиче-

ской карточки девяностолетней давности, смотрит призывно и лукаво, там что-то во взгляде её зовёт моё сердце, я ещё не пойму, обещая ему или обращая его в камень...

Но в корзине оказались грибы, которые Лена набрала ни свет ни заря в перелеске, чтобы приготовить нам завтрак.

Приглашение

– А я другим вас себе представлял, – встретил Белкина у входа высокий, не очень седой, но очень уставший и чуть измождённый старик. Он не назвал своего имени, зато рукой сразу указал на дверь в одну из комнат. Судя по большому количеству книжных шкафов – кабинет.

– Каким же? – больше для того, чтобы поддержать разговор, вежливо спросил Белкин, заходя в комнату.

– Не так и важно, в сущности. Присаживайтесь. Кофе? Чай? Холодной водички?

– Воды – это хорошая идея, – искренне ответил Белкин.

Воловских внимательно посмотрел на собеседника:

– Мне нравится, что у вас такая выдержка.

Странно, отметил Белкин, в этих словах нет ни иронии, ни краешка улыбки.

– Одну секунду. Схожу на кухню.

Он вернулся с бутылкой модной и дорогой минералки. Откупорил, налил в изящный бокал, подал. Белкин мгновенно выпил и жестом попросил себе всю бутылку, после чего налил себе ещё полный стакан.

– Я надеюсь, что моё столь срочное появление здесь оправдано. Потому что, конечно, я бы хотел поскорее оказаться дома, – молвил Белкин, утолив жажду.

– Понимаю. И поэтому незамедлительно начнём.

Воловских коротко, безэмоционально, но быстро и подробно описал произошедшее в Египте. Белкин на протяжении почти всего рассказа старика сидел с закрытыми глазами, пытаясь уложить в голове нагромождение не просто фактов, а вселенных: хотя Кёльн и Петербург как-то увязывались, хотя тоже не идеально, но Египет, пустыня, ночное исчезновение в море... Темно и шумно. И тревожно.

– Искать Алёшу здесь никто не будет. А в Египте решение уже вынесли: утоп. Они сожалеют, но так.

– Понимаю. Вы хотите, чтобы я поехал туда, – прервал старика Белкин, заранее в депрессивном шоке от замаячившей перспективы.

– Что?! Ох, нет! Конечно же, нет!

Воловских даже усмехнулся.

– Это совершенно бесполезно. Если бы я думал хоть что-то найти там, я бы нанял водолаза с плавающим графиком работы.

На сей раз Белкин улыбнулся – шутка понравилась. Да и отлегло, чего скрывать. Он любил и Египет, и весь Ближний Восток – с его профессией как не любить! – но в Марса Алам на поиски утонувшего студента ехать точно не хотелось.

– Но в чём же дело?

– Борис Павлович, ноутбук. Ноутбук Алёши. Дело в том, что... мне хотелось бы взглянуть на его содержимое. У меня есть свой, но я им пользуюсь только для развлечений, знаете, сериалы, игры примитивные, какие-то фотографии. Переписку я там не веду. А у Алёши всё иначе. Я знаю, что он постоянно что-то писал. И писал именно в ноутбук. Поэтому у него, кстати, нет планшета – на нём неудобно набирать тексты. Так вот, на ноутбуке сына установлен пароль.

Воловских сделал многозначительную и хитрую паузу, как будто приглашая Белкина догадаться, но тот не менее хитро промолчал. Старик продолжил.

– И не просто на ноутбук, а непосредственно на жёсткий диск. Я выходил на разных специалистов. Хороших, прошу поверить. Все они посмотрели ноутбук и одинаково уверили меня, что обойти пароль невозможно. То есть даже если вытащить сам жёсткий диск, к нему любому доступа извне не будет, поскольку как раз на диск пароль и установлен. Подробности в

эту секунду не так важны. Кроме того, дело осложняется тем, что, помнится мне, сын однажды обмолвился, пусть и в шуточном между нами разговоре, что на ввод пароля надо вообще-то устанавливать не три, как в сказках, а только две попытки, чтобы при ошибке дважды подряд данные были полностью уничтожены. Если он действительно так думал, а я почему-то в этом не сомневаюсь... Словом, взломать защиту методом перебора также, скорее всего, не удастся.

Белкин уже догадался, но решил до прямого высказывания Воловских ничего не говорить.

– Так вот. Дело в том, что я прошу вас, Борис Павлович, помочь мне выяснить, какой пароль установил мой сын. А теперь я готов выслушать ваши вопросы.

Хоть Белкин и догадался, какой будет просьба, ясности произнесение её вслух не прибавляло.

– А как вы себе всё представляете? Я ведь, Владимир Ефремович, как вам известно, не сыщик, не криптограф. И, вы удивитесь, не программист и не хакер. Я преподаватель философии. Как я могу подобрать пароль к компьютеру человека, которого я никогда прежде не знал?

– Да, я понимаю прекрасно ваше недоумение. Однако я не прошу вас найти Алексея или установить, что именно с ним произошло. Мне невыносимо об этом говорить, но я не исключаю, что до конца дней своих мне придётся удовлетворяться текущей версией. Мне не нужен ни математик, ни специалист по шифрам или хакер, потому что расшифровывать нечего, а взломать установленный пароль, как я вам объяснил, невозможно. Кроме того, вы упомянули, что не знали Алексея, а меж тем я ещё в телефонном разговоре сказал, что он – ваш бывший студент, и более того, писал под вашим руководством диплом.

– Ах, точно! – воскликнул Белкин. Об этом факте он в самом деле забыл. – Но я не припоминаю студента Воловских у себя, а преподаю я не так давно, пока что помню всех.

– Дело просто в том, что у нас с сыном разные фамилии, он с рождения носил фамилию матери... покойной матери. Он, повторюсь, у вас учился и одиннадцать лет назад, Борис Павлович, он защищал у вас диплом, вспомните. Андреев.

И, да, тут он вспомнил, конечно же, Алексей Андреев, Лёша. Ничего особенного в нём не было, но вспомнил.

– Но я всё равно не понимаю. Почему именно я? Ведь вы же можете поговорить с его знакомыми, друзьями, девушкой или женой, нет? Возможно, они могли бы чем-то помочь.

– Возможно, – ответил старик. – Я уже говорил с некоторыми, кого нашёл... и с теми, кого знал сам, и с теми, о ком говорили другие. Но когда я размышлял, кому я мог бы довериться в деле, о котором вам рассказываю, перебирал возможности, я вспомнил в какую-то минуту, как Алексей отзывался о вас во время учёбы и перед защитой... Он говорил, что, кажется, понимает вас раньше, чем вы что-то скажете, и вы так же понимаете его идеи. И... Дело в том, что мы с сыном никогда не были всерьёз близки друг другу, так, как мне хотелось бы, во всяком случае. И меня это вот задело тогда – то, что он вас понимал так хорошо. Наверное, я позавидовал, и поэтому, должно быть, вас и запомнил.

Он замолчал. После небольшой паузы Белкин заговорил:

– Вы позволите, я попробую тезисно ещё раз всё сформулировать... просто для себя. Итак, вы хотите, чтобы я провёл некое исследование. И постарался понять образ мыслей Алексея, чтобы, м-м, угадать, какой пароль он мог установить на своём компьютере. Но как, скажите, я – или мы с вами вместе – сможем понять, какой вариант подойдёт лучше? Но там же будут десятки, если не сотни вариантов, а у нас сколько попыток, две, вы говорите? Не говоря о том, что нам просто в голову может не прийти то, что он выбрал, или не хватит одной цифры, буквы, нижнего подчёркивания... и потом, – Белкин принялся размышлять вслух, как любил делать в аудитории, – и потом, а вы не допускаете, что паролем может быть просто случайный набор цифр и букв, без какого-либо смысла, автоматически сгенерированный программой? У нас же тогда вообще нет ни одного шанса!

– Вы правы, – сказал старик. – Однако вы говорите «мы» – хороший для меня знак, хоть вы пока и не ответили формальным согласием на моё предложение. Я поясню свою позицию. Действительно, если это случайный сгенерированный пароль, то возможны миллионы миллиардов, не знаю, миллиарды миллиардов комбинаций. Поскольку у нас – с вашего позволения, я тоже буду говорить «мы» – всего две попытки, то в таком случае мы, разумеется, правильную комбинацию не угадаем. И именно поэтому такую ситуацию можно просто вынести за скобки. То есть исходить из того, что это не так. Что пароль имел какой-то смысл. Если наше предположение окажется неверным, мы ничего не теряем. Если же оно окажется правильным – у нас появляется шанс. Очень небольшой, да... Борис Павлович, я стар, а в последние недели постарел ещё больше, но я не выжил из ума и понимаю, что вы не можете мне дать каких-либо гарантий. Поэтому я прошу вас только о том, чтобы вы попытались вспомнить, каким может быть пароль, – исходя из того, что вы знаете и что сможете узнать об Алексее.

– Вспомнить?..

– Да. Вы сказали «угадать», но «вспомнить» звучит более точно в свете моей просьбы. Я бы хотел, чтобы вы, узнав Алексея, насколько это возможно, смогли стать им, стать Алексеем. В конце концов, вы же специалист по исагогике.

Белкин безмерно удивился и не сумел скрыть удивления.

– Да, – самодовольно ухмыльнулся Воловских, – хоть я и на пенсии, но контора работает. Мне пришлось даже немного почитать энциклопедии, чтобы узнать, чем же занимается ваша наука. Вроде как историческими источниками религиозных текстов?

– Упрощённо – да.

– Ну вот, и разве вам это не близко – понять, в чём кроются корни, источники текстов и размышлений моего сына?

Белкин на сей раз сумел не выказать свои эмоции – Воловских вряд ли бы понравилась снисходительная улыбка, которой он, Белкин, одарил бы своего заказчика. Но зачем расстраивать и без того огорчённого навек человека?

– Сколько у меня будет времени?

– Я не могу поставить перед вами конкретный срок, – старик помолчал. – Конечно, я осознаю, что это не могут, как бы мне того ни хотелось, это не могут быть часы... Но пусть, – могу я просить вас? – пусть мы остановимся на днях, а не неделях. И ещё. Я в любом случае заплачу вам. И, если хотите, заранее – до того, как мы с вами здесь попробуем ввести предложенные вами пароли. Кроме того, я обещаю вам любое необходимое содействие – информационное, материальное, какое угодно – любое необходимое. У меня есть люди, которые моментально смогут поехать куда-либо, чтобы что-то для вас забрать, отдать или посмотреть. Кстати, внизу стоит машина. Вадим может отвезти вас домой. И со мной созванивайтесь в любой момент, хоть ночью.

Он помолчал.

– Я не знаю, что можно добавить.

– Мне стоит взглянуть на сам ноутбук? – спросил Белкин.

– Если хотите. Хотя, честно говоря, вряд ли это чем-то поможет. Вы согласны?

Слова

Такие слова говорил Белкин следующим утром Елене в пустой её квартире в доме, стоящем на улице Доблести, на перекрёстке с Зорге, между парками Южно-Приморским и Полежаевским, в расстоянии часа пешего пути от метро «Проспект Ветеранов», по дороге от Западного скоростного диаметра к Невской губе:

– Мне очень сложно всё осознать, так как события слишком плотно упаковались в последние часы. Но с кем же поделиться, как не с тобой. Произошедшее только в очередной раз доказывает, какие мы блестящие планировщики своей жизни и её течения. Слишком много наслоилось, понимаешь? Вчера утром я проснулся в Кёльне, что-то съел и выпил на завтрак, пытаюсь читать местную газету.

Елена безмолвно удивилась.

– Ну, немецкий язык развивал. Просто ради любопытства. Но писали в газете о местных выборах, так что я на какое-то время погрузился в ту тему. Потом сел в поезд, поехал в аэропорт Кёльна.

– На поезде? – снова удивилась, но на сей раз вслух, Елена.

– Ну, на электричке, конечно.

– О чём ты думал там?

– Думал о тебе и о твоих словах, которые ты мне написала.

– Какие именно?

– Никто не знает, когда придёт последний гудбай.

Елена улыбнулась.

– И что ты надумал в этой связи?

– Знаешь, как-то вертел, взвешивал, предполагал, какой у кого гудбай может настать. А потом переключился на диссер. Вот так брык – и перескочил. Зайцев ждал отзыв, ждал, а я тянул и тянул, обещал и обещал, но так пока и не прислал. Пришлось ему звонить. Зайчик остался без текста. На самом деле так ему и надо, диссертация так себе получилась, крайне тупая, я даже оппонировать не хотел, недостойна она меня, извини уж за снобизм. А дальше сел в аэропорту перед выходом на посадку и снова стал думать о тебе. Сколько лет-то прошло – шесть? Семь? А почему всё так странно у нас?

– Хороший вопрос, главное – свежий.

– Да, но я не жду ответа, просто рассказываю. Впрочем, *почему* меня интересует не так сильно, как *зачем*.

– Однако надо отметить, событий не так много. Что тебя так перепугало?

– Ты самое главное пока не знаешь. В общем, в такой обычной мысленной чепухе я пробыл весь полёт, а после приземления, ещё чуть ли не в аэропорту, мне позвонили с незнакомого номера. И представь себе, какой-то непонятный старик с фамилией, которую чёрта с два запомнишь, хотя у меня где-то визитка осталась, стал меня в странных выражениях умолять к нему заехать, потому что я, видите ли, руководил дипломом его сына, а сын пропал. Точнее, судя по всему, погиб. Ну, я это узнал уже, когда приехал, по телефону он не признался. Папаша-то. Но пока ехал, чуть не тронулся умом, потому что пришлось думать сразу резко не о том, о чём я бы хотел. Дорóгой я просто чуть последний мозг не сломал, пытаюсь догадаться, о чём речь. А потом он рассказал, но легче не стало. И во-от... В общем, сын его исчез пару-тройку недель назад где-то в Египте. Кажется, нырнул и не вынырнул, в прямом смысле слова. Но плавал он, опять-таки по словам старика, очень хорошо, и никакого шторма не было в тот день. Загадка, короче говоря. И попросил меня отец подобрать пароль к его ноутбуку – дескать, он, сын то есть, хорошо ко мне относился во время учёбы, и я единственный, кто сможет догадаться, что там у него в качестве пароля установлено. А в ноутбуке том, полагает старикан,

разгадка. И я в глубине души согласился, хотя весь вчерашний вечер, ночь и сегодняшнее утро не могу понять, стоило ли.

– Почему ты сомневаешься? Благое же дело.

– Ну вот что-то изнутри гложет. Не могу понять, что.

– А ты порассуждай.

– Думаешь, я не пытался? Только этим и занимаюсь. Старик довольно противный, конечно, но умный. И если бы он не обронил одну фразу, я бы так не мучился, хотя всё равно, вероятно, согласился бы.

– Гони фразу.

– Что-то вроде: чтобы угадать, вам придётся стать Алексеем. И я слегка подвис. Я не готов, я не хочу становиться кем-то ещё. Это ж какие бездны подсознания разверзнутся передо мной. Но я обещал, а старик натолкнул меня на эту мысль. Вот и придётся становиться невнятным Алёшей, чтобы попытаться разгадать. Халтурить я не буду, скорее всего.

– Денег-то обещал?

– А то.

– Вот и хорошо. Подумай, ты же для того и родился, чтобы думать. Что-нибудь надумай. Я верю в тебя. А потом ты меня пригласишь в ресторан, и мы нажрёмся как свиньи.

Елена, сидя на диване по-турецки, бесстрастно и бесстыдно смотрела на него, и Белкину очень нравился её взгляд. Он встал, всунул руку в задний карман джинсов, чтобы достать бумажный платок, и внезапно обнаружил там визитку.

– Вот! Гляди. Воловских. Послал же бог фамилию.

– Как-как? – переспросила Елена.

– Воловских.

– Владимир Ефремович?

– Да.

– Быть такого не может. А фамилия Алёши этого – не Андреев?

– Да. Андреев.

– Но... – потрясённо пробормотала Елена, падая на спину и закрывая лицо диванной подушкой, – почему всё так, почему, почему...

Часть вторая. Поручение

Проповедник

Беготня беготней, всё – беготня.

Что пользы человеку от работы, на которой трудится он под солнцем?

Не может человек охватить разумом всего.

А пересказать – тем более.

Ещё не нырнув в исследование с головой, Белкин постановил вначале разобраться с насущными делами – работой и, главное, личным. Зашёл в деканат, поговорил с Линой Петровной о всяком. Потом вдруг осенило:

– Линочка Петровна (так к ней все обращались), а возможно ли в наш век информационных технологий отыскать хоть какие-то сведения о студенте, который писал у меня диплом лет десять назад?

– Ну конечно же, Борис Павлович. О ком речь?

– Некто Алексей Андреев. Мне кажется, он учился не у нас, а на филологическом, но диплом решил писать у меня.

– А что, вы его сами не помните?

– Как он выглядел, вроде, в голове осталось. Его работу забыл, но это не беда, я совершенно точно не удаляю никакие студенческие файлы из компьютера. Просто ещё не смотрел. А вот прочих подробностей не восстановить.

– Кажется, я его помню. Ещё требовалось формальное согласие их кафедры и нашей. Да-да, точно.

Лина Петровна знала всё и не забывала ничего.

– Раз он не наш, у нас ничего нет о нём?

– Вряд ли – только протокол с того заседания, ну и с защиты диплома что-то обязательно осталось. Так что надо на филологический обращаться.

– Я там никого не знаю. А вы знаете?

– Борис Павлович, идите на лекцию, я всё сделаю. Не волнуйтесь.

Если Лина обещает, она делает. И даже если не обещает.

Прочитал лекцию об эпохе Первого Храма, увлёкся. Забыл не то что об Андрееве и Фариде – о Елене тоже забыл, а такое редко случается. А ещё забыл отключить звук на телефоне, что вызвало нездоровый ажиотаж среди студентов, потому что Белкину позвонили – хорошо хоть, что до конца лекции оставалось совсем немного. Будь это простой звонок или банальная песня какая-нибудь, никто бы и внимания не обратил, так, пару человек прыснули бы – просто чтобы чуть отвлечься от серьёзной темы. Но Белкину всегда было принципиально важно знать, кто звонит, ещё до того, как он посмотрит на экран, поэтому каждому из своих постоянных собеседников он назначил отдельную мелодию. В тот же раз позвонил не кто иной, как Влад, давний приятель, которого Белкин шуточки ради называл Вкладом, а на его звонки установил старую добрую матерную песню про муравья. Вся группа с готовностью заржала, развеселилась и мигом потеряла рабочее настроение. Белкин, впрочем, тоже.

– Вот видите, господа, как мы с вами зависимы от внешнего, – заметил Белкин. – Пара слов не по теме – и всё, мы уже не с Соломоном, а здесь.

– И вы зависимы? – крикнул кто-то из глубины.

– И я, конечно.

– Борис Павлович, – другой голос, – а вы там бывали?

– Где?

- В Израиле, в Иерусалиме.
- О да, много раз.
- И в Египте?
- Конечно.
- В Хургаде?
- Нет. Я в Хургадах не отдыхаю. В Египте тьма других интересных мест.
- Шарм-эль-Шейх, Марса Алам, – съязвили сзади.
- Марса Алам. Алёша. Смерть.

Белкина как будто ткнули в исследование: не забывай, дескать, о самом важном. Помни. Не скажи – не поможет.

Он собрался с духом, в тщательно скрываемой задумчивости продиктовал студентам следующие темы, попрощался и, не чувствуя себя, вылетел в коридор. «Борис Павлович, можно вас?» – крикнула из деканата Лина Петровна. Повернулся на негнущихся, зашёл.

– Я позвонила на филологический. По Андрееву у них осталось только самое общее досье, что-то вроде анкеты. Ничего интересного, но вы можете к ним в любой момент зайти и посмотреть или сфотографировать, как захотите. А ещё случилось нечто странное.

– Что же?

– Я связалась с Могилёвой из ректората, я с ней хорошо общаюсь. Изложила ей суть, она меня перенаправила в деканат филологического, и там мне всё объяснили. А через десять минут, сразу же, мне перезвонили. Но не Могилёва и не из ректората. А неизвестный мне преподаватель, который спросил, в связи с чем я интересуюсь Андреевым Алексеем. Я намекнула, что это, собственно, и не я вовсе. И тогда он попросил вас как-нибудь зайти к нему в перерыве, когда вы сможете. Аудитория тринадцать-двенадцать.

– Что за преподаватель?

– Я его лично не знаю. Он назвал только имя-отчество: Александр Самуилович.

– Тоже не знаю, но зайду. И в деканат, и к Самуиловичу. Спасибо огромное, Линочка Петровна.

Но Самуилович, конечно, выскочил из белкинской головы сразу же.

...Разобраться с личным оказалось куда сложнее. Потому что легко сказать – разобраться. Понять суть отношений с Еленой бесполезно, можно даже не пытаться. Вся предыдущая жизнь плавно подводила к тому, что, встретив такую женщину, Белкин вцепится в неё и не отпустит. Но вышло иначе: повстречав Елену, Белкин исполнился жутчайшим, невыносимым отвращением к... самому себе. Он понял: затащить её в постель – несложно, сплестись с ней в каком-либо подобии совместной жизни – реально, но дальше-то что? Белкин отлично знал что и как раз это в себе и ненавидел. Вот и получилось, что о Елене он не прекращал думать, на Елену не переставал оглядываться, с Еленой он встречался и разговаривал по телефону так часто, как только мог, но никакого продолжения их общение не получало. Самой же Елене как будто только это и требовалось: она отвечала ему таким же приятным отношением, ни единым словом не намекая на переход границ.

Бега по Кёльну, Белкин загадал в Петербурге поговорить с Еленой, только подобные загадывания повторялись раз в несколько месяцев и ни к чему не приводили. А уж после разговора с Воловских давно.

Зато с Фаридой вполне можно и разобраться. Белкин порой невероятно стыдился связи с ней (он вообще много стыдился), в первую очередь из-за несовпадения целей. Даркман, после Сахалина накрепко обосновавшийся в Берлине, раз в месяц педантично спрашивал Белкина, с ним ли ещё Фаридка, и, слыша, что да, восклицал: «Ты же её не хочешь!» – «Хочу, ты прекрасно знаешь». – «Ну да, я знаю, как ты её хочешь!» – удивлялся Даркман, впрочем, по американской привычке, не утерянной за десятилетия вне родины, без малейшей злобы и подначивания.

Даркман знал. Белкин, исстари не пропускавший ни одной возможности для удовольствия, после знакомства с Еленой вдруг решил, что надо отринуть всё лишнее. Он постановил полностью избавиться от всего телесного, сосредоточившись на Елене. Но намерения, как водится, пошли прахом: судьба как будто в насмешку почти сразу же подослала ему Фарида, симпатичную фигуристую одинокую ровесницу, служившую невнятной редактрисой в большом издательстве (точнее, редактрисой она была вполне внятной, но Белкин её работой интересовался лишь по касательной). Фарида изнемогала от постоянного желания, и Белкину, так и не понявшему, почему именно ему выпало испытание, для любого другого ставшего бы подарком, приходилось её буквально сдерживать. Зато когда Фарида получала своё, она легко давала то, в чём сильнее всего нуждался Белкин: молчание, внимание и объятия. Он мог лежать так с ней часами, лишь изредка вставая, чтобы выпить воды.

«Когда я сплю с женщиной, я в этот день больше не могу ничего делать, потому что я в процессе эмоционально истощаюсь», – сказал однажды доктор Аронов в самом начале их знакомства. Тогда ещё совсем молодой Белкин удивился до крайности – но Аронов пояснил, что речь идёт о музыке, о которой они в тот момент рассуждали (Лёва играл на гитаре в полупрофессиональном бэнде). Дескать, энергия уходит в женщину, а не в музыку, а музыка фальши не терпит. Аронов пояснил – и, наверное, забыл, а вот Белкин не забыл, с той поры мучительно прислушиваясь к себе каждый раз, пытаясь определить по завершении, способен ли он теперь на что-то или нет. Рядом с Фаридой Белкин хотел напитаться чистыми эмоциями – потому что Фарида как никто иной простым движением руки по его, Белкина, лицу умела возвращать силы и уверенность. Но и забирала она их постоянно – как и все иные. Каждое животное после соития печально, только петух поёт.

Накануне отлёта в Германию они как всегда встретились у него дома, только Фарида вела себя грубовато и даже чуть хамовато, постоянно требуя его внимания и общения. А Белкин хотел собраться с мыслями перед поездкой. А Фарида приставала. А Белкин раздражался. А Фарида смеялась. В итоге он прикрикнул на неё («Ты же уже всё, так полежи спокойно!!!»), за что, впрочем, и не подумал извиниться. Фарида против ожиданий не обиделась, а молча оделась и ушла, вопрошающе подняв свою красивую татарскую бровь перед выходом – мол, и что дальше, товарищ доцент? Белкин сердито отвернулся, не желая её удерживать.

Но что делать сейчас, по прилёту? В принципе, вот отличный повод для того, чтобы не встречаться с ней хотя бы некоторое время. У меня важное исследование! Воловских! Андреев! Египет! Пароль! Ноутбук! Так ей и скажу, решил Белкин, так ей и сказал, когда Фарида позвонила (Белкин не допускал мысли, что она добровольно пропадёт). Впрочем, упомянул только исследование, без подробностей.

А Елена?

Тех самых границ между ними на самом деле было протянуто немало, и две они случайно преодолели накануне. Когда к Елене пришло понимание, что за комиссия выпала Белкину, кого он теперь ищет, она кинулась ему на грудь (первая граница) и зарыдала (вторая).

!!!!Думал Белкин, что делать с Еленой, всю дорогу до дома думал и, конечно же, ничего не надумал, зато очень вовремя всплыла в памяти дипломная работа Алексея. Включил ноутбук, быстро отыскал нужный документ и стал его просматривать – совершенно, невыносимо всё скучно и незаметно. Хоть бы писал он вопиюще неграмотно или чушь несусветную – но нет, аккуратненько и чистенько и как-то... никак. Неудивительно, что Белкин сам не вспомнил текст Андреева. Хотя, конечно, читая его, Белкин мгновенно восстановил почти все сопутствовавшие события: их разговоры, встречи («...вы понимаете его идеи», – сказал старик), переписку... Переписка! Белкин стал вспоминать, каким адресом он пользовался в те годы... Кажется, не нынешним, увы. На всякий случай поискал в электронном ящике – ни одного письма от Андреева не нашлось. Помыкался немного Белкин по квартире, а потом снова сел за компьютер – продолжать начатое, ещё не задумываясь над тем, хорошо ли это, или худо.

Шестое

Шум и свет наступающего дня продвигаются откуда-то снаружи, просачиваясь в уютное тепло моего сновидения сквозь щёлки между веками, через ушные раковины, сквозь поры кожи и с воздухом вдоха. В это мгновение можно ещё – в действительности уже всё равно необратимо проснувшись – инстинктивно и тщетно сжать веки сильнее, но как сомкнуть их так, чтобы они стали непроницаемой стеной – между мной и внешним миром. То единственное время, которое одно подлинно и полностью моё, тот мир, который я не делю ни с кем, время и мир снов – недолги и уязвимы. Краткая автономность укрозного, уютного моего самобытия опять прервана шумом и светом наступающего дня, в котором я вновь подключен к сети общего на всех мироздания.

Внутри одиночества ночи снилась наша классная. Что Элли забыла в моём сне, откуда взялась? Читает нам, девятиклассникам, лекцию о южной ссылке Пушкина; вижу её там, в солнечном октябре, говорящую с каким-то лёгким недоумением, что ли:

– Удивительное, знаете, дело, я как-то в студенческие годы обнаружила для себя, что мы теперь осведомлены и помним жизнь Пушкина наверняка лучше, ну, во всяком случае – точнее, чем сам он её помнил. Вот, скажем, ровно за год до декабрьского выступления на Сенатской, мы потом поговорим о нём с вами, как оно аукнулось и чем откликнулось в судьбе поэта, так вот, за год до того Пушкин ещё не в глуши Михайловского, он тогда ещё на прекрасном Юге, где любовь, и солнце, и дружба, отчасти вроде как и ссылка, а складывается, ну, чистое приключение... Тринадцатого декабря он выезжает вместе с Иваном Липранди, с которым они очень близки в то время, из Кишинёва в Аккерман. К вечеру проезжают Бендеры, вообразите себе, да, свежесть молдавского вечера, лёгкий южный ветер, огромное распахнутое небо, усыпанное острыми звёздами. К обеду четырнадцатого Пушкин и Липранди приезжают в Аккерман, там они останавливаются у товарища Липранди – полковника Андрея Григорьевича Непенина. Тот в разговоре случайно путает молодого поэта с его дядей, Василий Львовичем: «Что, – говорит, Липранди, – так это с вами тот Пушкин, что написал Буянова?» – имея в виду дядину поэму «Опасный сосед». Пушкина нашего непенинский вопрос задел, и он раздражённо отвечает: «Как же, полковник, да ещё и георгиевский кавалер, и не может соотнести моих лет с годами появления рассказа!...» Ведь «ироикомиическая поэма» Василия Львовича издана двенадцать лет тому, когда, как вы понимаете, Саше Пушкину было едва больше десяти и он даже не начал ещё обучения в Лицее. Но, в общем, всё дело удалось свести к шутке, к тому же у Непенина гости встречают Петра Ивановича Кюрто, который когда-то обучал лицеистов первого набора фехтованию, а теперь служит комендантом Аккермана, и радостная их встреча рождает, конечно, в учителе и ученике тёплый поток общих воспоминаний и рассказов.

Утром следующего дня, пятнадцатого, Кюрто показывает Пушкину аккерманскую крепость, тот долго, долго стоит на балкончике одной из башен, разглядывая с высоты холодные волны днестровского лимана... Потом они вместе с Липранди обедают в доме коменданта, и Пушкин со столичным своим мастерством и обаянием ухаживает за пятью комендантскими дочерьми. На завтра, в шесть часов пополудни, Пушкин со своим спутником отправляются дальше, в Измаил, оставив навсегда позади гостеприимные дома полковника и коменданта и сам городок, полный – удивительно близким здесь – далёким средневековьем.

Так оно всё и застыло. Сохранённая такой, жизнь Александра Пушкина запечатлена для нас навсегда. Сам же он, например, лет десять спустя, только что, скажем, окончивший в Болдине «Медного всадника», вряд ли вспомнил бы – доведись ему припоминать – свою реплику, брошенную в далёком Аккермане полковнику Непенину, прекрасному и несчастному, в сущности, человеку, который за прошедшие годы побывал под следствием по делу декабристов, шесть месяцев провёл в камере Петропавловской крепости за то, что состоял в членах Союза

Благоденствия, после чего был выслан из Петербурга под надзор в тульское имение своего шурина. Но нам доступна память о задиристой фразе, о том дне четырнадцатого декабря, о встрече с «добрым малым» Кюрто... «Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина» реконструирует их, жизнь и творчество, в сознательном, во всяком случае, возрасте, не уступая в верности фиксации деталей дневнику, – едва ли, ну да, едва ли не ежедневно, с прилежной, уверенной, почти пугающей точностью. И вместе с тем, следя за «нашим всем» шаг за шагом и день за днём, слыша его в передаче друзей, собеседников, спутников, слыша даже извлечённую из переписки его собственную речь, мы видим не больше, чем восковую фигуру.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.